

Б И Б Л И О Т Е К А

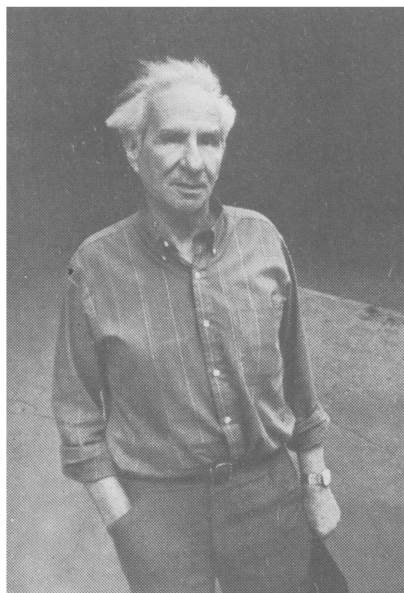
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 11

1990



*Александр ВОЛОДИН*

# ОДНОМЕСТНЫЙ ТРАМВАЙ

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 11

Издается с января 1925 года

Александр ВОЛОДИН

# ОДНОМЕСТНЫЙ ТРАМВАЙ

ЗАПИСКИ НЕСЕРЬЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1990

Александр ВОЛОДИН

*Один из старейших наших драматургов (род. в 1919 г.) живет и работает в Ленинграде. До войны преподавал русский язык и литературу в деревне Веши Московской области, служил в армии. Участвовал в боях Великой Отечественной, дважды был ранен, награжден орденом и медалями. В 49-м окончил сценарный факультет ВГИК, работал редактором на киностудии научно-популярных фильмов и «Ленфильме». В театрах страны и за рубежом поставлены пьесы «Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Назначение», «Старшая сестра», «Ящерица», «Две стрелы», «Мать Иисуса», многие были экранизированы. По сценариям А. Володина сняты фильмы «Звонят, откройте дверь», «Похождения зубного врача», «Фокусник», «Осенний марафон», отмеченный Государственной премией РСФСР. Автор книг «Для театра и кино», «Портрет с дождем», «Осенний марафон». В последнее время часто выступает в периодике со стихами и прозой.*

Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все посходивши с ума. Проба пера.

Рыба теперь гниет не только с головы, но и с хвоста.

Все больше вампиров, все меньше доноров, нехватка крови.

Любящие люди сосут нас больше, чем остальные, за это и любят.

Прежде Россия славилась пушниной, лесом и бабами. Теперь бабы стали деловые, волевые, да и корыстные. Прежде, когда становилось постыло, все могла заменить одна женщина. Теперь эту одну найти невозможно. Может, потому, что глаз пригляделся, чувства притупились, бдительность ослабла. Если и мелькнет такая, ты ее и заметить не успеешь.

Да и мужики. Тех, кто не может жениться (война), сменили те, кто не хочет жениться. Еще чего, взваливать на себя? Хватит и без того.

У интеллигенции вместо идей и страстей — сплетни. Называется информация.

В искусстве размножились дегустаторы. Этак, язычком: Ц.. Ц.. — устарело это, сейчас нужно вот что... Прежде с в е р х у указывали, каким и только каким должно быть искусство. Теперь прогрессивные дегустаторы решают, каким и только каким оно должно быть. Одноместный трамвай.

Сейчас, например, надо, чтобы было с т р а ш н о. В черных машинах, в бежевых дубленках приезжают посмотреть спектакль из жизни коммунальных квартир, из жизни насекомых.

Правда, война была все же страшней, чем даже такой театр.

Но время — само время насколько стало умней! Так высветило нашу глупость! И в мыслях, и в разговорах стало возможно все. Почти. Только п о н и м а е м ы теперь еще больше, чем.

Для нас, учеников 33-й школы роно на 1-й Мещанской, предвоенные годы были безоблачны. Было уже ясно, что мировая революция не за горами, хотя немного и удивляло, что это там рабочий класс медлит.

Как хорошо однажды понять, что ты человек прошлого. Знакомые думают, что они знают тебя, а на самом деле они п о м н я т ь тебя. Женщины прошлого красивы, деревья прошлого густы. Переулки прошлого, праздники прошлого, дожди прошлого, книжки прошлого... Стать человеком прошлого в старости — поздно, когда ничего нет в настоящем, то

и прошлое не поможет. Но сейчас, когда можно еще жить настоящим, хорошо бы не зависеть от него. Да и от прошлого можно не зависеть. Пускай оно зависит от меня. Каким я его вспомню, таким оно и вспомнится.

Когда мы влюблялись, не казалось ли нам, что это на всю жизнь? Сколько раз мы ошибались в этом. Когда мы переходили на новую работу, не радовались ли мы обилию новых людей, новой жизни, непохожей на прежнюю? А когда мы привыкали к этим людям — как разочаровывались. Сначала в этом человеке, затем в том, как стали безразличны многие, а другие остались такими же незнакомыми, как прежде. И только несколько человек, а когда мы немолоды — один или два оставались нам друзьями. Так мало...

Печорин презирал свет. Сейчас свет тоже существует. Более того, существуют два света. Есть Правый Свет и Левый Свет. Нечуждый культуре Правый Свет. И — Левый Свет, который в курсе того, что недостойно, что прилично, что интересно. Причем представители того и другого Света все чаще переплетаются, врастают друг в друга. Все трудней различать, кто представитель какого Света. В одном лишь и тот, и другой Свет солидарны полностью: «Когда все это наконец кончится!»

Сын спросил: «У тебя так бывает? Вот ты знаешь, впереди будет что-то хорошее. А что хорошее — никак не вспомнить. Но что-то хорошее будет». Было у меня так, было. Очень давно. Теперь же наоборот: знаю, что впереди что-то плохое. А что именно, точно не знаю.

Когда я попал в госпиталь, на спинку койки был намотан провод с едва слышным радионаушником. Превозмогая свое плачевное состояние, я прижимал его к уху и слушал нечто, напоминавшее музыку. Я не слышал ее с начала войны, забыл, что она существует. Звуки музыкальных инструментов еле-еле складывались в мелодию. Но она была, где-то там существовала!

Теперь музыка со всех сторон — по телевидению, по радио — не слышу, нет ее нигде.

Раньше падал духом с высоких мест. Вздвигался на них долго, а падал легко и ненадолго. Теперь же особенно высоко не взбираюсь. К чему? Все равно падать. И сами-то по себе эти вершины, откуда я теперь падаю духом, прежде служили теми местами, куда я падал духом сверху.

Из-за чего только не мучился! Из-за того, что обидел — нечаянно, и не думал. Из-за того, что опоздал, не сумел, сказал глупость, поступил глупо. Из-за женщин, порядочных и непорядочных, из-за порядочных больше. Из-за друзей, близких и не очень Из-за близких больше. Нико-

гда не мучился только из-за одного: из-за того, что мучаюсь понапрасну. А жизнь между тем идет, проходит...

Еще один день рождения. В детстве поздравляли старшие, и твоя жизнь становилась для тебя значительной, праздничной... Старших нет. А поздравления младших не поднимают тебя, как прежде, в собственных глазах.

Тягостные эти вопросы: «Над чем вы сейчас работаете?» Что отвечать? Много лет еще надо придумывать, год за годом. Уж уклонялся — некоторые не дают, настаивают. «Я не люблю об этом говорить». Самому стыдно. Решаюсь говорить правду: «Ни над чем не работаю». Попробовал — думают, что это просто шутка, чтоб отвязались. А я ни над чем не работаю. Пью больше.

...Небезопасное тяготение к спиртному у меня, как и у многих ровесников, отчасти появилось еще на фронте, с так называемых фронтовых ста грамм, тем более что, как правило, их доставляли нам на то количество личного состава, которое было до потерь, так что могло получиться вплоть до пятисот на рядового. Но теперь мой знакомый, бывший алкоголик, сказал, что я уже не сопьюсь, потому что не позволят возраст и состояние организма, он будет сопротивляться. Мне семьдесят лет. Какой ужас, а?

Беда в том, что я, когда чуточку не выпью, не человек. То есть вялый, скованный, малоинтересный. Если же немного приму, то становлюсь раскованный, с чувством юмора и любовью к рядом сидящей женщине. Тогда мне и со случайными людьми хорошо и им со мной хорошо.

Мы дети стольких грехов, что надо научиться хоть что-то прощать самим себе.

В с е м у придумывается хорошее объяснение. Только ненадолго. Придумалось, успокоило и — исчезло.

Понял слово «испытание». Это значит: послано испытание — совершён грех или нет.

Не могу объяснить, да не могу уже и почувствовать, как я еще в школе полюбил театр. Теперь уже мало кто любит. А это было еще тогда, когда: как снег был бел, как реки чисты, как небо в этих реках сине, валютные специалисты носили доллары в торгсины, а по небу аэропланы, а по земле автомобили, а пионеры в барабаны, а диверсантов посадили, а ввысь строительные краны, а вглубь большие котлованы,

а мы, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор, нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор!..

В пятом классе я, как все, поступил в пионеры. А в лагере произошла такая история: над своей койкой я приколот открытку с фотографией любимого артиста Качалова в роли из спектакля по иностранной пьесе «У жизни в лапах». На что вожатый спросил, почему я приколот фото неизвестно кого, а не Ворошилова или Буденного. И надо мной устроили показательный суд, тогда это было принято и все любили. Начальник базы произнес перед строем пламенную речь о том, что я за «искусство для искусства» и что в девятнадцатом году они таких расстреливали. Под барабанный бой меня выдворили из лагеря и из пионеров.

Но школу я окончил, опять же как все, комсомольцем. Купил за семнадцать имевшихся рублей билет до станции Уваровка и обратился в роно. Учителей не хватало, меня взяли в неполную среднюю школу в деревне Вешки, километрах в семи от станции. Тут надо уточнить, что мне еще прежде представлялась такая картина: заваленная снегом деревня, я учу литературе, но не так, как было принято, а совсем иначе. Но здесь я сразу попал в конфликтную обстановку. Завуч за бутылкой водки открыл мне глаза на директора школы, который в армии был солдафон и заставлял известного композитора чистить отхожие места. Однако директор школы за чашкой чая открыл мне глаза на завуча: он был сыном попа. Я оказался вне партий, в одиночестве и теперь в моем распоряжении была заваленная снегом деревня и сельпо, где можно было купить четвертинку и соевые батончики для закуски. Странно пить одному: выпил, закусил, подумал о том о сем и совершенно неизвестно, пора ли еще выпить, или пока рано. В компании это получается само собой...

И все же мне повезло, что я оказался в стороне от клокотания страстей. Как заразительна суетность — это как болезнь, заразиться может любой. Ощущение единственности жизни незаразительно как здоровье. Однако неучастие в борьбе партий вызвало неприязнь обеих и вскоре за чтение не т е х (Есенина, например) стихов ученикам, а также за произнесение не т е х слов меня исключили из комсомола.

В этом возрасте многие не случайно бросают институт, уезжают в дальние места — жизнь видится огромной, существовать до самого конца только э т и м, только з д е с ь — странно, дико. Лишь много лет спустя станет понятно, что э т о и з д е с ь может наполнить жизнь целиком.

Будучи уверен, что театральных способностей у меня нет, я все же подал растерянное заявление на театроведческий факультет. И вот это



да, меня приняли! А через месяц пришла повестка в армию, в тот год начали брать студентов.

Загадочный случай — на пятом году перестройки секретарь нашего обкома партии сказал в своем докладе на партактиве, который транслировался по телевидению, что — будем закручивать гайки. Пора. И т. д. А на другой день в нашей же городской газете была опубликована стенограмма этого доклада, где призыв этот читался иначе: «Я против всякого закручивания гаек».

В дни ярких событий жизни нашей страны люди начинают активно читать прессу. Однако по привычке не очень внимательно, с лета улавливая, в чем суть — «за» или «против». Только этим я могу объяснить, почему на другой день после смерти Сталина люди не обратили внимания на фотографию в газете «Правда». Там были изображены три человека: посередине глядящий в будущее Георгий Маленков, по одну сторону от него скромно потупился Сталин, по другую — вождь коммунистического Китая Мао Цзедун. Я тогда решил, что эту фотографию Сталин подготовил заранее, чтобы после его смерти она была опубликована и люди поняли бы, кто должен стать его преемником. Однако знакомый фотограф сказал, что тут возможен простейший перемонтаж, в результате чего Маленков мог оказаться в середине этой группы. В чем тут правда — знает только «Правда».

Сейчас мне это припомнилось в связи с публикацией в «Правде» пасквиля итальянского журналиста о пребывании Бориса Ельцина в Соединенных Штатах. Кому это понадобилось и в чем тут правда, знает опять же только «Правда». Впрочем, к тому времени, когда эти записки, возможно, будут напечатаны, комиссия все уже выяснит. А остальные комиссии выяснят все остальное.

Нашу часть повезли за Москву и разместили в гигантской кирпичной казарме. В первое же воскресенье я получил от моей знакомой письмо, что она придет ко мне и чтобы я пришел ее встречать.

Я пошел. Увольнительных нам еще не давали.

На дороге, довольно людной, я встретил капитана Линькова. Черный человек с металлическим голосом.

— Товарищ боец, ваша увольнительная, — остановил он меня.

— Увольнительной у меня нет, но я договорился с девушкой, что встречу ее.

— А ну в часть!

— Я не могу, товарищ капитан. Я обещал, что приду ее встретить. Наложите на меня любое взыскание, но — потом.

— Товарищ боец, я вам приказываю вернуться в часть.

Поодаль стали останавливаться прохожие, мне было неловко, что он так кричит.

— Товарищ боец! Станьте по команде «смирно»!

— Простите, товарищ капитан, — попросил я, — все-таки я пойду. Не надо кричать, неудобно.

Он схватился за кобуру. Тогда как раз вышел приказ Тимошенко, что за неисполнение приказа командир имеет право стрелять.

— Я пошел, товарищ капитан, — сказал я, страдая от мелодраматичности этой сцены. — Простите меня, пожалуйста.

И пошел. Стрелять он не стал.

Когда я вернулся, меня стали держать в казарме, не водили на чистку лошадей и хорошо кормили. Где-то, видимо, решался вопрос, что со мной делать. Но так ничего и не сделали, и я снова стал ходить на строевую подготовку и в конюшню.

Дедовщины тогда еще не было. Взамен было другое: как раз было узаконено негласное правило, что командир за невыполнение приказа может рядового ударить по физиономии.

Была узаконена гауптвахта. Служили не два года, а три, а то и четыре, словом, до предстоящей войны. И так далее. Но тогда еще никто не кончал самоубийством, еще никто не подал прощания, что ли...

Лицо нашего отделения определяли трое ребят с Горьковского автозавода. Зайцев — длинный, с приятным лицом, ловкий и мягкий в общении. Пестин — очень смелый, красивый парень и Суродин — черный, цыганистый, он был страшно деликатен. Долгое время, когда я слышал слова «интеллигентный человек», я сразу представлял себе его.

В армии все друг о друге понятно, никому ничего не скрыть. Особенно на фронте, там чуть поприветливей повел себя с командиром, незаметно уклонился за счет другого — значит, ты уклонился, может быть, от смерти, переложил кровь на другого. Склонность к этому угадывали сразу.

Армия делает человека обыкновенным, рядовым: я не лучше никого, такой же, как все, и все такие же, как я.

Однажды штатский лектор обратился к нашему политруку с просьбой выделить человека, который знает стихи Маяковского. Выделили меня. Я должен был иллюстрировать стихами его лекцию. Так в будний день я попал в город.

После лекции я сидел с увольнительной в кармане на садовой скамейке. Немного наискосок, на другой скамье, сидела компания девушек. Они о чем-то договаривались, хихикая, потом одна пересекла дорожку

и села рядом со мной. Что я начну к ней приставать — это было им ясно. Но в будний день я был безопасен. Я решил не унижаться, сидел не глядя на девушку, и думал о том, что я — личность ничем не хуже их, что я люблю Достоевского и Пастернака, что у нас в школе были такие же девочки, перед которыми я не стал бы унижаться, и т. д. Независимо посидев так достаточное время, я решил посмотреть на нее. Это была школьница. Такой я не встречал в своей жизни и едва ли когда-нибудь встречу. Она была красивая, серьезная, умная, все могла понять. Когда я потом рассказал о ней в отделении, Суродин так ее назвал: Звезда.

И не смог подняться и уйти достойно. Я заговорил с ней и сказал, что понимаю, в чем дело, что она просто поспорила с девочками... Мы разговаривали, подруги прошли мимо, позвали ее, но она махнула им рукой. А я говорил и говорил, я торопился, потому что до этого, мне казалось, я молчал всю жизнь. Она обещала прийти к казарме в воскресенье, но не пришла.

Однажды летом в воскресенье нас строем повели в Дом Красной Армии смотреть кино. Я отбилсь, чтобы полтора часа неправомерно бродить по городу. К концу сеанса я подошел к ДКА, чтобы незаметно просочиться в строй и вернуться в казарму. Когда открыли двери кинозала солдаты-мальчишки высказывали с радостными воплями.

— Что такое?

— Война! — кричали. — Сейчас объявили! Война с Германией!

Война! Это значит конец казарме, заграничные страны, и после победы — домой!

Мы шли строем, но пели, хохотали, и командиры нас не останавливали. Было смешно, что женщины у дверей и у ворот, глядя нам вслед, плакали.

Мы сидели в бетонированных дотах старой линии обороны под Полоцком. Ходили слухи, что Буденный уже взял Варшаву, Ворошилов подступает к Берлину. Война вот-вот могла кончиться без нас. Мы требовали политрука, мы спрашивали, когда же наконец выступаем. Немецкие самолеты тихо летели над нашими головами куда-то в тыл и там сбрасывали бомбы.

Вскоре нас подняли по тревоге и повели назад к Полоцку. Белый город стал красно-черной развалиной. Женщины с тяжелыми мешками, спотыкаясь, шли по городу. Я представил себе, как, согнувшись под мешком и спотыкаясь, по кирпичам бредет та девушка, Звезда. А ей пристало ходить только прямо, пощелкивая каблучками и высоко держа голову...

Через некоторое время нас повернули и повели обратно в доты. Это было первое окружение.

Наши винтовочки образца 1891/30 гг. против автоматов, «мессершмиттов», радиосвязи.

Тяготы войны я переносил терпеливо, как интеллигентный человек. Стыдился быть хуже кого-нибудь другого. Моя бодрость злила друзей. Меня ругнули, и я притих.

И верно, в эти первые месяцы самое уместное было молчать. В Действующей армии очень мало разговаривали, отступали молчаливые люди.

Теперь я многое пропущу. О войне я здесь не буду. Слишком много крови, проникающих и слепых ранений, смерти. На бегу слизывали с травы вылитый полевой кухней гороховый суп с запахом крови. Долго было не забыть этот запах. Люди нашего поколения оставили войне главные годы своей жизни, лучшую половину молодости. Писать об этом вдохновенно?..

Мы придумывали, балдея и заходясь от этих разговоров, как обставить встречу после войны, если кто-нибудь из нас придет к другому домой. Ни слова не говоря — к буфету, за бутылкой водки, которая специально стоит! — и молча! — у порога! — выпить по стакану! Граненому!

Встречались, но — не так, проще: уже шла жизнь.

Была одна жизнь, я уже не знал, что делать с ней, и хотел другой жизни. И она началась — в армии, и была огромна, казалась бесконечной. Но вот и она кончилась, я уже думал, что и сам кончился вместе с ней. Но настала третья — и снова так огромна, и конец только-только еще начал проглядываться. И то — не ошибка ли?

Не отсюда ли, от ощущения бесконечности этой жизни вера в бессмертие? Может быть, эта вера — просто привычка жить?

Одна сторона любви была для нас как бы незаконной, несуществующей. После выпускного школьного вечера мы шли по улице и поспорили: кто первый возьмет девчонку под руку. Я собрался с духом и взял под руку самую толстую, всегда отстававшую в учебе девчонку. И был уверен, что она начнет отбиваться и будет смешно. Но она отбиваться не стала, а, наоборот, потянула меня в переулок, завела в парадное своего дома. Девушка была неумная, но предусмотрительная и хорошо знала, что можно, а чего нельзя. Тогда все девушки берегли свою девичью честь. Некоторые доберегли до конца.

Очевидно, чувство любви, которое может стать радостью существования, не отказывает себе в праве поиздеваться. Подурачит, поводит за нос, собьет с толку, заморочит, десять раз обманет, а потом уж перед кем искупит свои забавы, а перед кем и нет. Так и проживут и думают, что все в порядке.

И снова морочит: вон идет девушка — золотоволосая, платье треплется на ветру, она трубит в трубу... А! Это она просто пьет из бутылки молоко, в обеденный перерыв идет из магазина. Ну и что, ведь могла бы идти прекрасная с трубой где-нибудь в другом месте, в другое время. Или вот на вокзальной скамейке задумалась, печально склонила голову... А приглядишься — лицо у нее одутловатое после портвейна: просто ей трудно поднять голову.

Через несколько лет после войны ко мне приехал друг по фронту. Сразу выпили из граненых стаканов, как раньше договаривались. Стали вспоминать о том о сем, как после ранения в легкое я не мог дышать и решил, что вот сыграю в ящик, и подумал: если бы мне дали прожить хоть один год, как много я успел бы за этот год сделать! Теперь-то я знал, чего стоит минута жизни!.. Это было смешно вспоминать, с тех пор прошло уже много лет. Но потом, когда приятель ушел, я начал подумывать на эту тему, и мне стало странно, что мысли, которые казались такими важными, теперь смешны. Да и смешны ли они? И что это со мной стало, и как я бестолково живу...

Нет, началось-то совсем не так. Были какие-то не до конца увядшие надежды. Едва меня демобилизовали, в обмотках еще, я пошел к желтенькому зданию Театрального института (по выданной некогда справке я имел официальное право вернуться на первый курс, с которого меня взяли в армию). Встречаю Евдокимова, его по зрению тогда не взяли. Уже кончает институт. Спрашиваю:

— Жень, я знаю, за войну потерял все, потерял память, никаких талантов, давно уже. Воспользоваться мне этой формальной справкой или нет?

— Нет, Саша, — сказал он. — Не стоит.

Он был талантливый, я ему поверил.

Я решил пойти в институт кинематографии.

Театр — это Шекспир, Островский, Гамсун, Чехов. А кино — это «Три танкиста», «Сердца четырех»... Попаду — хорошо. Не попаду — не страшно.

Перед экзаменом по специальности я досыта наелся хлеба (какой-то поддельный, он был сладкий). Задание было — написать рассказ, однако с непривычки к такому количеству хлеба я почти сразу почувствовал, что меня тошнит.

Преподаватель, который вел экзамен, обратился к поступающим:

— Что вы делаете, сразу пишете? Вот посмотрите на него. Он думает!

Думал же я о том, что меня тошнит.

Я успел написать около страницы, не подступив даже к началу задуманной фабулы. Пришлось отдать эту страничку и уйти.

Через несколько дней я пришел за документами. Девушки со старших курсов, которые там околачивались и были в курсе дел, рассказывали, что какой-то парень, солдат, написал потрясающий рассказ, всего одна страница, всё в подтексте...

Для обучения сценарному (как и всякому другому) искусству время было трудное. Мы учились сочинять такие истории, где будто что-то происходит, но на самом деле не происходит ничего. Мы знали такие секретные пружины, которые замыкали всякое событие — на себя, отключая его от реальной жизни. Мы страстно решали конкретные технические проблемы: способ проведения трассы, метод выполнения плана, чем больше страсти в решении конкретной проблемы, тем больше убежденности, что все остальное — в порядке. Мы готовились утверждать утвержденное и ограждать огражденное. Для этого у нас были творческие дни, просмотры иностранных фильмов и Чехов, у которого мы учились. Но у него герои пили чай и незаметно погибали, а у нас герои пили чай и незаметно процветали. Все хорошие, и всем хорошо.

Кто мог тогда сказать, что жизнь, самые тайные пороки и болезни ее не могут остаться не отраженными в искусстве. Как двойные звезды, жизнь и искусство соединены невидимой тканью. Если эту ткань попытаться растянуть, рано или поздно она все равно сожмется, и искусство нанесет свой запоздалый и потому особенно жестокий удар.

При распределении меня зачислили в сценарную мастерскую, где за солидную зарплату мы должны были писать сценарии. Я понял к этому времени, что писать их не могу и не буду никогда. Увернувшись от зарплат и обязанности заниматься искусством, я пристроился редактором на киностудию научно-популярных фильмов в Ленинграде.

Там меня подверг нескончаемому собеседованию начальник сценарного отдела. Нескончаемым оно было не за счет разговора, а за счет пауз. Сначала он долго смотрел на меня пронзительным взглядом, посвистывая сквозь язык. Это производило сильное впечатление, потому что он был альбинос и глаза у него были белые. Наконец он произнес единственную и тем особенно значительную фразу:

— Я сентиментален. — Немигающий взгляд, посвистывание сквозь язык. — Я могу проследиться в кино. — Немигающий взгляд, посвистывание сквозь язык. — Но я могу в упор убить человека. — Немигающий взгляд, посвистывание сквозь язык. — Может быть, по Ницше — это сверхчеловек — не знаю...

Из инородцев он прощал только Маркса и Свердлова. Меня там не стояло.

Как бывший фронтовик, я редактировал секретные военные filmy — о правилах обматывания портянок, обращении с винтовкой и прочем, что в обильной переписке обозначалось сугубо секретными номерами.

Тут меня подстерегала беда. Я забыл на студийном столе адрес автора, к которому должен был зайти. Для верности он нарисовал планчик, как к нему добраться. Но жил он где-то поблизости от тюрьмы, которую обозначил словесно: «тюрьма». Мой начальник обнаружил этот план — предполагаемого взрыва или подкопа — и все последующие годы время от времени давал мне понять, что в случае чего план этот попадет по назначению.

Рассказ о том, как мы с женой и сыном приехали жить в Ленинград и поселились в поселке Дибунy и знать не знали, что через две станции — море. А моря мы с женой и сыном не видели никогда в жизни. И никто не сказал нам, что море близко. Всем это было так известно, что и говорить-то было незачем. А мы хлопотливо жили трудной, скудной жизнью, продлевая временную прописку, потому что постоянной были недостойны. А через две станции — десять минут езды на электричке! — было Море! Там не видно другого берега! А на этом берегу — Лес! Сквозь который видится это Море! Как в книгах Майн Рида, когда путники выходят из джунглей и кричат: «Море!» Ни я не знал об этом, ни жена, ни сын. Если бы мы тогда и услышали случайный разговор об этом море, то не обратили бы и внимания.

Моего старшего сына я начал уважать и даже стесняться, когда он еще учился в школе. Он в начальных классах стал заниматься математикой, переходя постепенно к высшей. Университет он закончил рано, через год защитил кандидатскую диссертацию. Обратился к области науки, которая тогда у нас считалась неперспективной, как деревни. Он решил уехать в Штаты, где бы мог работать в этой области с наибольшей отдачей. Долго его не выпускали. Теперь же его несколько раз приглашали к нам в Союз на симпозиумы по искусственному интеллекту.

Когда в альманахе «Молодой Ленинград» первый мой рассказ приняли, воодушевленный этим, пришел с шестилетним сыном в издательство. Редактор мне говорит:

— У вас такая фамилия, что вас будут путать. Один написал плохую статью о Шагинян, у другого какие-то нелады на радио.

Я-то понимал, в чем дело. Моя фамилия немыслима в оглавлении среди хороших молодых русских писателей.

— Что же делать? — спрашиваю.

— Это кто — ваш сын?  
— Да.  
— Как его зовут?  
— Володя.  
— Вот и будьте Володиным.  
И я стал. И горжусь этим.

Душа, однако, дожила до мира. Правда, захирела, стала почти невидимой глазу. Правда, мир получился не ослепительный, как ожидалось, а почему-то тусклый и опасный. Словно бы изнанка войны... Душу, словно бы по привычке, все топтали и поносили, и приустиала она. Вот с этой, усталой, и живу.

Сначала она пылала. Потом попала в прокрустову армию, и там ее проучили. Она сделалась в точности похожей на все другие солдатские души — компактной, готовой в любой момент. И вот — первый момент.

В сороковом году наш полк, стоявший в Полоцке, был поднят по ночной тревоге. Куда-то ехали в грузовиках. Заняли боевой порядок перед границей какой-то страны. Указаны цели: дом со шпилем на башне, лесок с отдельной сосной. Но за час до назначенного срока объявили приказ огня не открывать, а перейти границу мирно. Так мы и сделали...

Ачу<sup>1</sup> Литве!

Ачу тем, кто на улице приветливо отвечает, как пройти туда-то и где что находится.

Ачу за то, что никто не напомнил мне, как наши войска перешли их границу в сороковом году.

Ачу поэту Мартинайтису за строки стихотворения:

Как похожа Литва на Литву!..  
И никто не сумел истребить  
                                это литовское сходство.  
Сколько войн прокатилось —  
все равно уцелело небо,  
похожее на Литву.

Ачу женщине, которая сказала мне по-русски: «Всего доброго»  
А я не сообразил ответить ей: «Ачу».

Но —

Кровопролитие в Грузии. Резня в Сумгаите. Кровь в Узбекистане.  
Народные депутаты Съезда встают, почитая память погибших.

---

<sup>1</sup> Ачу — по-литовски спасибо



А Афганистан? А Венгрия 56-го года? А Польша 81-го года? А Ка- тынь? А самосожжения в Чехословакии, в Литве? Так и стоять депута- там?

В конце шестидесятых примерно годов я написал пьесу о стране, где живут шестьдесят семь человек, она вымирает. Это чтобы были по- нятнее некоторые процессы, которые мне виделись в далеком, возмож- но, будущем, а может быть, ничего этого не произойдет. Олег Ефремов понес эту пьесу в Министерство культуры, но там, прочитав, сказали ему: «Вы нам этого не давали, мы этого не видели». Это по тем време- нам было еще благородно. В пьесе было про то, что у нас произошло сейчас и называется «перестройка». Однако там была и такая сцена, где все возвращается к прежнему. Я ее вычеркнул, и года два назад эту пье- су легко напечатали. Но теперь я бы эту сцену вернул.

Три года довоенной казармы, непрерывное неодинокство. В По- локк отпускали по увольнительным хорошо если раз в четыре месяца. Полагалось бы чаще, но в воскресенье обязательно обнаруживалось на- рушение дисциплины где-нибудь в городском гарнизоне, и увольнитель- ных лишались все. Вырвавшись наконец по увольнительной в город, мы лихорадочно ходили по улицам и садикам Полоцка в бесплодной жа- жде знакомства. По воскресеньям женщины и девушки старались не вы- ходить на улицу. Те, что выходили, знакомились только с офицерами. С рядовыми совсем уж какие-нибудь убогие. Садовые разговоры были однообразны, никто не пытался нарушить этот ритуал: «Ну, расскажите что-нибудь». «А что мы расскажем, мы дома сидим, а вы всего повидали, вы и расскажите». «А что нам рассказывать, мы в казарме сидим, мы вас слушаем»...

Пятидневный отпуск с фронта! Домой! В тыл! Со справкой, выдан- ной на руки комиссаром! И я получил это! В сорок третьем году! И все смотрели на меня, и все говорили обо мне, и каждый примеривался, что бы он делал эти пять дней дома! И подмигивали мне, и говорили про тех баб, которых в тылу полным-полно, которые только и ждут! Чтобы отдаться! Пять дней!

Пропускаю дорогу, потому что не в ней дело.

И вот Москва. И останавливает патруль. Дело в том, что у меня бы- ла медаль «За отвагу», но вместо нее еще не распространенная тогда, в то время, планка, сероватая с голубыми полосками по бокам. А медаль у меня нечаянно сорвалась с колечка, когда я вытряхивал вшей из гимна- стерки после того, как обжарил их на костре. Медаль, главное, тогда еще нечастая, на красной, прежде еще, колодке. Я искал ее в траве, да так и не нашел. И вот планка внушила подозрение патрулю. В районной

комендатуре мне дали метлу, и первый день отпуска я провел, подметая там двор.

Потом отпустили. Пошел на Сухаревскую площадь, там до войны жили родственники, у которых я жил. Простите за нескладность выражений.

По улицам, как ни странно, ходили военные с портфелями. На фронте я знал, что в тылу остались только самые одаренные, необходимые Родине люди. Страшно было подумать, чем я смогу заниматься там, если останусь в живых. И вот я на углу Колхозной (наоборот, Сухаревской, теперь Колхозной) площади и Первой Мещанской (проспект Мира). Поднялся на второй этаж по грязной лестнице — дверь забита, родственники уехали неизвестно куда. Тогда я пошел на Гоголевский бульвар, где жила моя мачеха, верней, даже не мачеха, потому что она поставила условие отцу, что выйдет за него, но без ребенка. Поэтому я и жил у родственников.

По дороге я, конечно, смотрел только на женщин — их тоже было много на улицах, но они были все озабочены и, судя по всему, кому-то уже принадлежали. И никто из них даже не подал намека, что хочет со мной познакомиться.

Мачеха оказалась дома. У нее было слегка одутловатое лицо, интеллигентное. Нос тоже был интеллигентный. Ходила она утиной походкой, поклеывая головкой. Она впустила меня и заплакала. И у меня ком в горле. Стал доставать из вещмешка сухой паек. Там была свиная тушенка, и сухари, и шпик, и много чего еще на пять дней. Она так смотрела на это, что я выложил все на стол и, чтобы она могла поесть без меня, не стыдился, вышел на Гоголевский бульвар. Когда вернулся, она уже все аккуратно сложила и опять заплакала. Мне стало стыдно, что я плохо о ней думал. На ночь она мне постелила на кушетке и стала рассказывать, как она не хотела идти за папу, потому что он был намного старше. Но она думала, что он обеспеченный человек, а оказалось, что он даже необеспеченный человек. А она работала машинисткой, и ее один генерал называл статуетка.

На другой день в этой коммунальной квартире обнаружилась девушка. Но мачеха предупредила, что она проститутка. Она была некрасива, но не так, как бывают некрасивы студентки или домохозяйки. Я понял, что могу полюбить ее, уже люблю. Но мачеха заметила это и сказала, что она больна дурной болезнью и к ней ходит лейтенант. «А как же лейтенант?» — спросил я. «А лейтенант тоже болен. Сначала хотел ее убить, а сейчас они оба лечатся».

Вот так жил у мачехи, на улицу старался не выходить, а то заберет патруль. На третий день мне захотелось обратно. Но приехать на день раньше — ну это просто стыд будет перед всеми. Что скажу? Прожил еще один день и вернулся в часть, которая была на переформировке.

И стал врать. Ведь это за них я побывал дома! За них за всех! Любой из них получил бы столько радостей за эти пять дней! Это я должен был!.. И рассказывал, с кем я, и еще с кем, и что она, и что та...

Когда начались сомнения? Когда началась отдельная от государства жизнь? Точнее сказать, не мы от него отделились, а оно от нас отделилось, дало понять, что не нуждается в наших мнениях. А нам то и дело стыдно за него. За другие государства не стыдно, они не наши, а за это стыдно, потому что оно наше, и все, что оно делает, — это как бы мы делаем, и все, о чем оно врет, — это как бы мы врем. Нет, понять можно, ну — люди там, в правительстве, не очень умелые, никак не могут сообразить, не получается. К тому же, например, в бараке на пятьсот человек труднее навести порядок, чем в квартире на троих. Словом, много объяснений можно найти.

Вопрос: почему отшельники удалялись от людей? Раньше я думал, потому что все люди греховные, значит, подальше от них. На самом же деле вовсе не так. А потому, что он, отшельник, среди людей то и дело допускает плохие, грешные, как говорится, поступки. Соблазны, конечно, внутри нас, но возможность этот соблазн осуществить — она только среди людей.

Составляю списки, перед кем виноват. Прошу прощения. Некоторые даже не понимают, забыли, за что. Но есть такие, у которых уже просил прощения и обижал снова. Грех не случается, а совершается. В результате всего предыдущего, всей жизни твоей. Позвонил по этому поводу Яше, святому человеку. А он говорит — да это у каждого есть! Думаешь, говорит, у меня нет? У него?.. Это меня сразило. Раз у всех, и особенно с возрастом, такие мысли, значит, еще ничего. Значит, пришло время искупать, каяться. Но перед кем? Материалистическое воспитание... Вот в чем сложность.

Рабовладельческий строй сменился феодальным и так далее. Сейчас, на новом витке истории, он возрождается. Все многочисленной клан людей, которым необходимо рабовладельчески властвовать. Нельзя над многими — пусть хоть над кем-нибудь, хотя бы даже временно, ненадолго. Для этого им не нужны действительно зависимые от них люди. Ради того чтобы добиться подчинения, рабского услужения себе, они сами готовы унизиться, сымитировать, а то и на самом деле тяжело, мучительно обидеться, вымолить, только без свидетелей, наедине. На людях эта иерархия восстановится.

Как обычно, спрос рождает предложение. Тут — добровольное. Растет, ширится порода тех, кто подготовлен уже к зависимости. Кто своей интеллигентностью, своими комплексами, своей неспособностью разга-

дать дьявольские хитрости. А кто — вообще привычкой жить в условиях молчаливого рабовладельческого витка истории.

Рабство последних у предпоследних (по положению), рабство нижележащих у среднесидящих, рабство среднесидящих перед вышестоящими, рабство вышестоящих перед еще более высокостоящими.

Гении поэзии не подведомственны рабству. Вся мощь государственной машины обрушилась на поэта, по годам уже старого (правда, такой поэт выше возраста), аполитичного (правда, такой поэт выше политики), непонятого народу (правда, такой поэт выше способности всего народа его понять), — государство во главе с Хрущевым обрушило всю свою силу на него — и все! это! рухнуло перед ним! Признавшим себя побежденным, попросившим не выдворять его за пределы его Родины. Это Пастернак, если непонятно. Это лягушка в болоте, как выразился кто-то из простых рабочих словами какого-то из простых журналистов. Это — «кто такой Пастернак, что-то не слышал». Сейчас не упомянуть Пастернака, если речь идет о поэзии, просто неприлично. И непатриотично.

Другой поэт, женщина, прибившаяся к Родине. Уничтожила себя сама. Ничего не имела против Родины своей. А пятно этой гибели осталось на Родине, до сих пор отмываем, никак не отмыться до конца. Это Цветаева.

У каждого свое страдание. Геннадий Шпаликов, писатель светлого молодого дара, в течение двух-трех лет постарел непонятно, страшно. Встретились в коридоре киностудии. Он кричал — кричал! — «Не хочу быть рабом! Не могу, не могу быть рабом!.. (Далее нецензурно)». Он спивался. И вскоре повесился.

Неполноправная долгая моя жизнь у родственников. Потом долгая неполноправная жизнь в армии в мирное еще время. Тогда многие годы никого не демобилизовывали в ожидании войны.

Правда, постепенно воинская дисциплина становится привычной, и вот мне, рядовому, доверяют заниматься строевой подготовкой с подразделением — вперед до пояса, назад до отказа, носочек тридцать сантиметров от земли.

И война первых месяцев — с марсианами, в расчете на то, что гусеницы их танков поскользнутся на нашей крови. И госпиталь с палатой на пятьсот человек: кто мог — добирался, писал в консервную баночку, которая стояла посередине.

Первый раз в жизни я перестал понимать: как жить? Что делать? Ради чего? Едва слышу, что кто-то все это знает и у него все в порядке — почему у вас все в порядке? Как вы этого добились? Но у каждого свои причины, а мне ничего не помогает. А может быть, пора уже опу-

скаться? Но долго опускаться скучно, а жить осталось еще порядочно. А может быть, пора уже стать мудрым? Так я — с удовольствием!.. Но в каком смысле? Что мне надо мудро понять? Как жить, что делать, для чего? Именно этого я и не могу понять.

Вдруг обнаружил записку. Чьи это слова? Кто это посоветовал людям? Не знаю.

1. Не вспоминать прошлое.
2. Помнить о смерти.
3. Не думать о мнении людей.
4. Не принимать решений под влиянием настроения.

Как хорошо начались, как хорошо взорвались эти новые годы! Но вот мощно поднялся гигантский партийно-административный Аппарат. Пустил свою гнилую кровь одновременно по всем каналам. Прилив сил ощутили сплетенные с ним Мафии. Опомнился Рабочий Класс — работяги, которые давным-давно разучились, расхотели работать. А «котел народного гнева на грани взрыва» (Нуйкин, «Огонек» № 40'89 г.). Прорвалось молодое Поколение, ненавидящее это в с е. Вот и у нас пошли в ход резиновые дубинки, и не только они. А следующее Поколение? Но ведь его будет воспитывать нынешнее. Да, но п о т о м придут новые. А не сметут ли они все? И в какую сторону? Неизвестно. Но! — Реформы обязательно порождают людей, которые способны их (реформы) осуществлять. Инициативные люди появились, они есть! Много их? На экранах телевизоров много. Будет ли их все больше? Или меньше? Неизвестно...

А новое так отрицает старое, так беспощадно отрицает, будто даже не подозревает, что, не успев того заметить, станет старым. Оно стареет на глазах. Короткие юбки. Вот уже длиннее. Вожжи моложе. Вот уже старше. Добрее нравы. Вот уже подлее. А новое так беспощадно отрицает старое, будто даже не подозревает...

Суды застойных лет, Михаил Хейфец — не кинорежиссер, а учитель истории, который одновременно и писал книжки об исторических героях, — сидел на скамье подсудимых и улыбался, бодро и комично. А грудь как бы колесом. Ему было неловко перед знакомыми в зале суда, что он оказался в роли судимого народовольца, как бы героя...

Среди свидетелей был очень хороший писатель, молодой. Судья пытался в чем-то уличить и его, припугнуть, припереть к стенке, выставить на посмеище перед простыми хлопцами, которых привели сюда для атмосферы — погоготать в нужных местах над этими, диссидентами.

Дело в том, что подсудимый попытался сочинить предисловие к стихам Бродского, который к тому времени свое уже получил и, как тунеядец, отработывал положенный ему срок на лесоповале. (Тогда он еще не был Нобелевским лауреатом.) И вот Хейфец показал как-то черновик своей статьи другу, любимому всеми писателю, который теперь и дает показания на суде. Я понятно объясняю?

— Почему после прочтения статьи вы сказали подсудимому, что его посадят? — спрашивает судья.

— Я выразился фигурально. Если, например, у меня кто-нибудь берет любимую книжку, я могу сказать: «Не вернешь — убью». Но это же не значит, что я действительно возьму нож и... И кстати, могу оказаться провидцем.

Утомленный жизнью мозг судьи буксовал.

— Да о чем разговор-то, — продолжал свидетель, — о статье? Так ее ведь нет, есть черновик, который человек показал узнать мнение, я высказал ему свои замечания. Закончил бы он свою работу или нет, и как закончил бы — неизвестно. Что же говорить о черновике?..

И далее пошел разговор: вопрос — ответ, вопрос — ответ. Человек по интеллекту примерно уровня средневековья (я имею в виду судью), и человек нового времени (я имею в виду свидетеля). И хлопцы, приведенные для гогота над диссидентами, тут, в зале суда, гоготали над судьей! Жаль, не увековечена эта беседа.

Суд неожиданно удалился на совещание.

Михаил Хейфец получил четыре года строгого режима и два — поражения в правах. Думаю, на приговоре сказалась и обида суда на свидетеля.

Нынче что-то напало. Бежать, бежать... Отсюда — туда. От давно знакомых — к другим, незнакомым. А от других, незнакомых, — куда?

Никогда не толпился в толпе. Там толпа — тут я сам по себе. В одиночестве посев, по отдельной иду тропе. Боковая моя толпа! Индивидуализма топь! Где ж толпа моя? А толпа заблудилась среди прочих толп.

Позвонили из ленинградского Союза писателей:

— С вами хочет встретиться американский драматург Олби (о нем я тогда еще не слышал), но с ним — один подонок из США. Он говорит по-русски и хочет, чтобы нашего переводчика не было. В общем, вам не следует встречаться.

Не надо, думаю, так не надо. Хватало и отечественных подонков, а низкопоклонством я не страдал.

Несколько раз звонил по телефону человек с акцентом. Жена сразу поняла, что это тот подонок, и отвечала, что меня нет.

А месяца через два я в Москве зашел в подвальчик «Современника», где студии собирались после спектакля. И вдруг Олег Ефремов говорит:

— Да вот же он!

И вот красивый черноволосый молодой человек поднимается мне навстречу и что-то говорит по-английски. Наш переводчик мне объяснил, что это американский драматург Олби, а говорит он о том, что в Ленинграде они долго охотились за мной, но меня все время держали на даче. Так что они видели перед собой лишь толстый затылок секретаря ленинградского СП.

Сможем ли мы встретиться, когда они снова приедут в Ленинград? — Конечно!

Про Олби мне уже рассказали, это был всемирно известный драматург-абсурдист и приехал он в Россию с еще более знаменитым писателем Стейнбеком.

И правда, через некоторое время они — то есть Олби с подонком, говорящим по-русски, снова приехали в Ленинград. Наш переводчик позвонил мне рано утром:

— Эти подонки опять хотят встретиться с вами без меня. Давайте сделаем так: вы как будто случайно узнали, что они остановились в гостинице «Астория». И приходите туда к трем часам, как раз к обеду. А я — тут как тут. Иначе у меня будут большие неприятности, да и вам, честно говоря, зачем это?..

Черт с ним, думаю, так и сделаю, мне и переводчик не помешает, а уловки уже надоели.

Подонок оказался культурным атташе США — высокий, белокурый, похожий на Вана Клиберна. Он был близким другом президента Кеннеди, которого недавно убили. Едва зашел разговор об этом, подонок вдруг залился слезами и ненадолго покинул нас. В «Астории» мы сидели за столом с американским флажком.

И вот мы разговорились. Обо всем, что они любили, что я любил, — о Пастернаке, о Шварце, об Окуджаве; американский подонок-атташе уточнял перевод нашего переводчика то на английский, то на русский. О политике мы говорить избегали. А когда я подошел к официантке, попросить еще чего-то, наш переводчик побежал за мной:

— Вы так и говорите! С ними никто так свободно не говорил! Они охренели! Они даже меня стали считать за человека!

Олби спросил:

— Когда вы пишете, о ком вы думаете, чтоб кому было понятно?

Я — не задумываясь:

— Всем! (Я представил солдата, который по увольнительной гулял с девушкой, и вдруг дождь, и он купил входные в театр...)

Они расхохотались.

Что такое?

— Я трачу много времени и сил, чтобы написать пьесу, — сказал Олби — Пускай зрители потрудятся и попытаются ее понять.

Потом мы пошли в театр Товстоногова, уже поздно. Вахтерша нас не пускала, мы перелезли через заборчик и с галерки посмотрели финал пьесы «Океан»...

Много позже я узнал, зачем был нужен Олби. Дело в том, что они со Стейнбеком прилетели к нам для того, чтобы в личном общении проверить правильность предварительного выбора писателей, которых по поручению Пен-клуба решили пригласить в Америку на полгода. (Тогда еще никто никуда не ездил.) Кандидатуры были такие: Евтушенко, Вознесенский, Аксенов, Некрасов и я. Олби, как драматургу, следовало познакомиться со мной. Знакомство, мне кажется, полностью удовлетворило нас обоих. Потом, из Америки, Олби писал своему другу атташе, что это был лучший день, проведенный им за несколько месяцев в России.

Через некоторое время названные писатели получили официальное приглашение. Нас вызвали в иностранную комиссию Союза писателей, объяснили, что Пен-клуб — это враждебная международная организация писателей и каждый из нас должен отказаться от приглашения: «у меня книга выходит», «у меня пьеса репетируется»... А потом мы сами всех вас пошлем.

Вежливые письма с отказом кто-то за всех нас написал. Последовало еще одно приглашение — и на него такие же приветливые ответы.

Так я никуда и не поехал...

Михаил Ильич Ромм отличался от всех кинематографистов, от всех художников и ученых, от всех старых и молодых людей. Он жил в особом мире смелых неожиданных решений и поступков. Он существовал словно в другой жизни, из которой и письмо дойти не может. Но оно дошло.

«Ваш «Зубодёр» (повестушка «Похождения зубного врача», непонятно как попавшая Ромму в руки. — А. В.). Просто смеялся от радости, когда читал — его недолгая слава, его крушение и т. д. В общем хочу вступить с Вами в преступные договорные отношения».

Мне тогда полюбился фильм Ролана Быкова «Пропало лето». Я хотел, чтобы Быков снял картину о «зубодёре». Но Ромм предпочел своего ученика Элема Климова, уже интересно заявившего о себе.

В течение долгого времени шла переписка с Госкино, где никак не пропускали сценарий. По той причине, что в нем «все поставлено с ног на голову. У нас л и ч н о с т ь ответственна перед обществом, а у вас получается, что о б щ е с т в о ответственно перед личностью!»



Однако волю и ум Ромма одолеть было трудно. Сценарий был запущен в производство.

Вскоре после этого Михаил Ильич пригласил меня домой, рассказал замысел своей новой работы, с тем чтобы вместе написать сценарий. Но мысль о том, чтобы стать соавтором Ромма, была для меня кошунственной. Зачем я ему нужен? Что могу дать? Чем могу помочь!.. Я сказал ему об этом, как мог, и, терзаясь, уехал в Ленинград.

Из третьего его письма: «Может быть, я настолько старше Вас, что Вы стесняетесь? Зря. Я совершенно начисто, абсолютно лишен ощущения собственной почтенности и даже ощущения старости. Я часто говорю о старости и пр., чтобы напомнить себе: ты старикашка, ты смертен, не будь мышиним жеребчиком, не разглагольствуй, не суетись и пр. А все не выходит!.. Но Вы не откажетесь вступить в акционерное общество «Кобыла». Почему «кобыла», я сейчас объясню. В Карловых Варах я в тосте упомянул, что число «13» у меня счастливое. Я поставил картину «13». «Девять дней» — моя тринадцатая картина, а фестиваль тоже тринадцатый и т. д. Тогда Блиер (француз, член жюри) рассказал такой анекдот: человек прожил на чужбине 13 лет, вернулся 13-го числа, сел в поезд, вагон номер 13, место 13. Тринадцать дней он ждал, что будет, потом пошел в казино, поставил на номер 13 и выиграл 13 миллионов. Назавтра пошел на бега, поставил всё на кобылу номер 13, она пришла тринадцатой. С тех пор я называю свою следующую работу Кобылой».

Затем у Ромма возникла идея снять фильм на основе моей пьесы «Две стрелы».

Из последнего письма: «Детектив каменного века» остается моей единственной перспективой (если у меня вообще есть перспектива). Но боже, как трудно доползти до конца!..».

Это письмо Михаила Ильича я получил через два месяца после его смерти. Близкие ему люди, разбирая бумаги, нашли письмо и отправили мне. «Мосфильм» с облегчением расторг со мной договор на том основании, что другой режиссер не сможет фильм, задуманный Роммом, «высветлить».

Кинорежиссеры. Особый клан людей, которые одновременно и начальники и таланты. Иногда гении. То есть Сталины и Станиславские. Имею в виду тех, которые долгие десятилетия трудились над созданием декораций жизни. По негласной иерархии они следовали почти что за кругами правительственными. Многократно награжденные, стоящие в очереди за новыми наградами (знают, чья очередь подходит). Один из таких попросил написать для него сценарий и добавил на ухо: «На Ленинскую премию...» Другой кричал на членов съемочной группы, на талантливых актеров, на каждого из подчиненных: «Мне подчиняется

восемьдесят человек!..» Он — гений. Выше — никого. Во всех инстанциях — как дома. И Сталин был бы у него вторым секретарем парткома.

Для кинорежиссера Достоевский — просто автор сценария.

Режиссеру мультипликации предложили снять картину по «Алым парусам» Грина. Он отмахнулся:

— Про это я уже снял «Муху-Цокотуху».

О другом режиссере восторженная поклонница поведала:

— Он в «Анне Карениной» в сущности выкинул все-все!

— Зачем же все? — спрашиваю.

— Да потому что он все это уже давно сказал в «Платоне Кречете»!

Сталин был человеком номер 1. Не потому ли он любил определять людей номер один в различных областях жизни? Сто пятьдесят миллионов знали, что тракторист номер один — Паша Ангелина, диктор номер один — Левитан. Шахтер номер один — Стаханов. Сборщица хлопка номер один — Мамлаклат. Образец коммунистической морали — Павлик Морозов. Машинист — Кривонос, композитор — Дунаевский, летчик — Чкалов, режиссер — Станиславский, «лучший, талантливейший» — Маяковский...

Русские люди не привыкли быть в меньшинстве. Когда это случается, как, например, в Прибалтике, мир для них становится страшен и неутоен.

До сих пор, хотя и реже, снятся сны, где минный скрежет и разрывов гарь и пыль. Это было, я там был. Но откуда — про глухие стены, где допросов страх, сапогом по морде, в пах... Я там не был. Но другие...

Заметил, что очень подвержен гипнозу. Как например. Когда начальственное лицо в своем кабинете начинает сдержанно-начальственный разговор, вот тут-то, от его голоса и продуманных жестов, у меня начинают закатываться глаза и гипнотически клонит в сон.

В октябре 89-го напросился в жюри театрального фестиваля в Ужгороде. Это интерфестиваль, на который съехались и украинский, и венгерский, и югославский, и чешский театры. Оказалось, правда, что из Чехословакии приехал театр украинский же — тут, в Закарпатье, все несколько перемешано. Судьба этой земли столь причудлива, что многие знают и румынский, и венгерский, и чешский языки. И вот фестиваль. Жюри постепенно уставало, начались уже небольшие обиды,

и пора бы домой, там дела, в том числе и работа с этой книжечкой, и вдруг...

В самый последний день, когда жюри решало последние вопросы, на ужгородской сцене шел последний спектакль. Театр из небольшого городка в Югославии, играл на венгерском языке. И мне довелось увидеть этот спектакль, это волшебство. А как рассказать о волшебстве? Не получится же! О чем оно хотя бы? Для каждого о своем. Для меня, скажем, — о нежном, любовном обращении в рабство человека (служанка иступленно хочет уйти, убежать из хозяйского дома, от сладкой своей каторги, и — не может! не может!). А поставил это незначимый режиссер, который умер четыре года назад. Запоздалое волшебство — когда спектакль шел, все премии уже были распределены. Вот и пишу об этом в номере ужгородской гостиницы. Надо что-то сделать. А что делать с волшебством, когда о нем и не расскажешь?..

...Кто эти? Неполноценные писатели, второстепенные актеры, временно известные публицисты, вдруг и ненадолго вспыхнувшие недостойной талантливостью? Неэрудированные, сентиментальные, не по возрасту возбудимые, быстро устающие, а то и выпивающие... Они просто не до конца убиты войной, они просто не до конца смяты временем. И успели осветить вокруг себя лишь небольшое пространство.

Всю жизнь бегал по двум лестницам. По одной не разрешали бегать, а по другой не было хода. Но все же бегал — то по одной, то по другой, пока меня не остановили знакомые. Они спросили: «Что с вами? Почему у вас такие грустные глаза?» А я и не знал, что у меня такие глаза. Если бы знал, сразу бы сменил. Для бегания по двум лестницам нужны совсем другие глаза.

Общение с Екатериной Алексеевной Фурцевой.

Заочное: меня пригласили в Чехословакию, звонок Фурцевой. «Ехать не рекомендую. Вам будут задавать провокационные вопросы, вам будет трудно на них отвечать, а если ответите, вам будет трудно возвращаться». (А на Запад, даже капиталистический, тогда уже ездили многие, но я оказался «невыездной».)

...Екатерина Алексеевна собрала в ЦК нескольких драматургов. Приветливо спросила, что кому нужно, чем кому помочь. Одному, оказалось, нужно помочь съездить в Англию. «Конечно, почему же и нет. Возможно, вы хотите написать что-то о капиталистической системе...» Словом, у присутствующих (человек шесть) были разрешены все проблемы. Я же стал говорить о положении искусства вообще — о том, что тогда и на кухнях обсуждали, понижая голос.

Неслышащие глаза. Я замолк. «Но вас, я знаю, ставят хорошие театры, тут жаловаться не на что». Я рад, что меня слышат: «Но я не о себе! Я...» И снова про то же, так несколько заходов. А мне: «Вы ходите в бассейн?» Я не сразу понял, о чем это она. — «Вот видите, Володин не ходит в бассейн, не следит за своим здоровьем. Как же вы будете писать пьесы?..»

...Там же, в ЦК. Круг созданных уже человек сорок. Один из драматургов спрашивает робко: «Екатерина Алексеевна, разъясните нам, что такое конфликт?» — «Вам известно, какая себестоимость гидроэнергии по сравнению с электроэнергией?» Драматургу было неизвестно. «Ноль целых, одна десятая копейки на киловатт-час». (За точность цифры не ручаюсь, давно было.) «Вот вам и конфликт!..»

...Приехала в Ленинград запрещать у Товстоногова «Пять вечеров». Перед началом второго действия ведет меня по круглому коридору. Свет уже гасят, боюсь, не начнется ли (будто без нее могли начать!). Она спрашивает: «Какой ваш любимый драматург?» Не понял, к чему бы это. «Наш, или заграничный?» — «Зарубежный». Никак не могу вспомнить — кто там? Вспомнил: «Миллер». — «А еще?» Кто же там еще?.. «Теннесси Уильямс...» — «А еще?» Вспомнил: «Эдуардо де Филиппо...» Она остановилась, обернулась: «Вот ваша ошибка! Итальянский неореализм — не наша дорога!»

Многие, многие, собственно, живут двойной жизнью. Там они — властительные утюжки, а тут — простецкие чайнички. Это когда окажутся в случайной компании. С ними можно попасть в неловкое положение: такие вопросы начнут задавать, такие разговоры, такие намеки... Приходится делать вид, что и сам ты немного чайничек. Не то позволишь себе, ляпнешь что-либо утюжковое — неловко.

Когда же вокруг одни утюжки — другое дело. Тут чем больше ты утюжок, тем лучше. Правда, по сравнению. Есть такие утюжки! — утюжищи! Рядом с такими и сам начинаешь чувствовать свой постыдный чайниковый носик. То есть никакого носика нет! Но — как бы рудимент, бывший носик. Или, напротив, зародыш возможного носика.

Что же касается чайничков — тут другая сложность. На людях иной раз так хочется дать понять, что ты не чайничек вовсе, а почти что утюжок! Ведь и чайничек может быть величав. Чей, он, чайничек-то? Он чайничек такого утюга!..

В Калифорнии много улыбаются. Взглянешь на встречного — он улыбнется вам и даже скажет «Хай!» или «Монин!» А если идешь со своим привычным выражением лица, могут спросить: «Что с вами? Что-нибудь случилось?»

На бамперах почти всех машин — наклейки с надписями, чаще всего шутивными. Это произвело на меня такое впечатление, что я просил переводить мне каждую.

«Три дня в неделю при мне заряженный пистолет. Догадайся, в какие дни».

Машину ведет молодая красивая женщина. На бампере: «Как много мужчин, как мало времени».

На маленькой дешевой машине: «Когда вырасту, я буду Кадиллак».

«Я люблю свою жену».

«Я люблю своего мужа».

«Я люблю свою собаку».

«Поцеловали ли вы на прощанье своего ребенка?»

«Осторожно, машину ведет дедушка».

Вдруг — по-русски: «Я задолжал, я задолжал, я на работу побежал!»

На двери дома надпись: «Стучите, если вам одиноко».

На двери мастерской: «Открыто. Хотя с большим удовольствием мы покатались бы на лодке».

В торговом центре Сан-Франциско держит речь против расизма яростный негр. Над ним плакат: «Живите, улыбаясь».

В школах, колледжах, университетах не оглашают вслух оценки в присутствии учащихся. Так же и на родительских собраниях. Это может унижить. Только наедине.

— Хотите сделать всех людей хорошими, — сказал мне американец. — А наша демократия хочет создать такие условия существования для людей, в которых даже дурные их качества шли бы на благо нации.

Любой предприниматель из шкурнических интересов, ради прибыли будет стараться сделать свой бизнес более выгодным для потребителя, нежели другие.

Однако на одном бампере было написано: «Трудно найти хорошую планету»...

Счастье — пустынное слово среднего рода.

Во Франции судят четырех медсестер, которые уби́ли больных. Видимо, накажут их сильно, если не по высшей шкале. Они — на вопрос судьи. «Почему вы это делали?» — отвечали: «Они старые были, неизлечимые все равно. Нам их жалко было...»

Мне бы такую сестру!

У каждого есть право на собственное несчастье.

Как ни странно, когда после оттепели вернулись холода, время продолжало умирать. Пьесы освобождались от вдохновенной наивности, ста-

новились трезвее, внимательней к жизни. Причем, несмотря на то, что государство, напротив, судорожно погибало. Главы правительства щедро дарили народу темы для анекдотов. В столах писателей копилось то, что понадобится времени в другие десятилетия. За многое, что было написано прежде, стало стыдно. Если кто-нибудь извещал меня о намерении поставить «Фабричную девчонку» или «Пять вечеров», я уговаривал не реанимировать устаревшее. Никиту Михалкова, который решил снимать «Пять вечеров», молил:

— Не позорьте себя, не позорьте меня!..

Но кинорежиссеры умеют добиваться своего. И картина, по-моему, получилась. Правда, в дирекции осведомились: «Для заграницы снимали?» — «Почему для заграницы?» — «Да ведь там будут думать, что у нас люди и сейчас в коммунальных квартирах живут!»

В одной маленькой европейской стране фильм пользовался странным успехом. Там приняли его за абсурдистский. Решили, что героиня живет в квартире, населенной призраками, которые, видимо, напоминали ей о давних грехах. Была там армянка (намек на национальный вопрос), мальчик на детском велосипеде.

Этот фильм-ретро оказался очень сегодняшним. А то, что ломало жизни прежде, было многим понятно. Каждое время ломает нас, пусть и по-своему...

Помнится, в Новосибирске на партийном бюро разбирали поступок актрисы, поставившей «Пять вечеров» в самостоятельном коллективе. Она оправдывалась: «Но ведь в Москве и Ленинграде пьеса идет!..» Ей возразили: «Москва и Ленинград — это выставки для иностранцев. Настоящая Россия здесь. У нас этого не будет».

В сталинские времена Россия прогнулась много более, чем ей было естественно. Бедствия, выпавшие на ее долю, превышали ее возможности. Теперь она пытается выпрямиться. Судорожно, то спохватываясь и возвращаясь к прежнему, то мечась в сторону демократии.

Прежде думалось, что в мире дело идет к отъединению стран друг от друга. Самыми враждующими оказывались соседи. Иран — Ирак, Израиль — арабы. Но начинает брезжить вера в другое, в единение народов, в падение границ. Венгрия и Чехословакия разобрали пограничные заграждения с Австрией, снесли сторожевые вышки, смотали колючую проволоку. Жители двух Берлинов ринулись в проломы стены, которая казалась вечной...А дальше?..

Некогда была Сухарева башня.

У Сухаревской башни, где Сухаревский рынок, торгуют спекулянтши шнурками от ботинок. В рабфаках наши братья, сияют горизонты. Лишенки в модных платьях от солнца носят зонты. В ячеекх сестры на-

ши, багровые косынки. Оранжевая башня, кровавый палец рынка... Сестренки наши седые — состарили победы. И братьев треть от силы — победы покосили. И пионеров больше не дразнят хулиганы. Туристы едут в Польшу, артисты едут в Канны. А Сухаревской башни уже в помине нет. Остался гром вчерашних и нынешних побед.

А в соседних домах — чердаки, чердаки, каждый со своими удобствами и недостатками. Там ночевали торгаша и беспризорники. Доводилось и мне. Тогда я жил в семье, из которой меня по временам выдворяли, по ритуалу — дня на два. Этот дом (угол проспекта Мира и Колхозной площади) сейчас — декорация. В нем никто не живет, он нужен для бутафорской башни, знаменующей начало пути к ВДНХ. Будете проезжать мимо вечером — там все окна черны. ...Так вот в той семье жил еще кумир мой, двоюродный брат. Он как-то спросил: «Пастернака читал?» Я учился в пятом классе, не читал. «Прочитай». Почитал — не понял. Но тут мне помогли торжественные отлучения от дома. Там, на чердаках, постепенно начал понимать стихи Пастернака. Про дождь: «...стуча подковой об одном гвозде то тут, то там, то в тот подъезд, то в этот...» (тогда над подъездами были жестяные навесы). А зимой начал понимать про снег: «... только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши, снег и кроме крыш и снега — никого...» Поначалу я думал, что этого Пастернака (итальянец?) знаем только мы двое, я и двоюродный брат.

— Вперед до пояса, назад до отказа! Раз! Раз!.. Носочек тридцать сантиметров от земли! Вытянут, вытянут, мать вашу!.. Раз! Раз!.. Кто это так койку застелил? Опять ты? Два наряда!..

Сохранить свою душу, сколько бы ни предстояло. По уставу тогда полагалось служить два года. Но не отпускали по три, по четыре — в ожидании предстоящей войны (которая все же оказалась неожиданной). Казарма, казарма, бессрочная служба. Мальчишки, виновные без вины. Уставы, учения, чистка оружия. Почетные лагерники страны. Служили, служили, служили, служи... Бессрочное рабство, шинели-ливреи. Несметная армия в мирное время. Эпоха нежизни, года-миражи. ...Сохранить душу, сколько ни потребуется. Пастернак. Первая Мещанская, убегавшая от рынка в свою особенность. Пионерская дружина на углу Безбожного. Особняк, в котором, говорят, жил Брюсов. А в доме № 3 хулиган Рыжий. А в доме № 5 — наша школа со своими хулиганами во дворе. А дальше — исполинский дом для слепых. И Грохольский переулок с кинотеатром «Перекоп», где Дуглас Фербенкс и Мэри Пикфорд. И Ботанический сад на углу Грохольского, там оранжерея, где Самая Высокая Пальма, где пруд, в котором нельзя купаться, где аллея, а на скамейках сидят с книжками Умные Девушки. И Вторая, и Третья, и Четвертая Мещанские. Дома с балконами, на которые некогда выходили

ли просто так, попить чаю или посмотреть вниз. Сейчас на балконы никто не выходит. А Ржевский вокзал назывался Виндавским, теперь он из последних по величине и значению, а тогда был самый заграничный...

Нет, были радости, были...

«Осенний марафон» Георгия Данелия с его жизнелюбивым, прекрасным грузинским юмором. Чувство гармоничности фильма. Сплетение быта и внезапного озорства...

Правда, дирекция и тут настаивала на изменениях. «Мы же его (героя) должны наказать. А что получается? Придет в кино трудяга, посмотрит — а у него две таких бабы, Гундарева и Неелова!..»

И любимые актеры этих фильмов — сразу сколько: Олег Басилашвили, Наталия Гундарева, Марина Неелова, Евгений Леонов, Станислав Любшин, Людмила Гурченко...

Фильм «Фокусник» Тодоровского. Двое, он и она, сидят на скамейке городского сада. А вокруг совершенно нетронутый снег. Как они подошли к этой скамейке, — неведомо.

А фильм «Звонят, откройте дверь!» Саши Митты. Грустная и сердитая Лена Проклова, которая положила на алтарь своей детской любви к пионервожатому «первого пионера», который и пионером-то не был. И непостижимый Ролан Быков в этой роли.

Челябинский студенческий коллектив «Манекен» поставил трагикомический спектакль по пьесе «Две стрелы». И речь в нем шла не только о прошлом, но и о будущем (для тех лет, когда это было написано). Так, например, перед героем стоял вопрос: не убежать ли из своего рода в другой, потому что здесь ему грозила гибель. А тогда никто еще никуда не уезжал, да и мысли о том не могло возникнуть...

Николай Шейко поставил в Минском ТЮЗе «С любимыми не расставайтесь». Из веселых игр и всяческого легкомыслия так незаметно отделялись двое, между которыми происходит жалкое, жестокое, судебное... В конце все действующие лица, в том числе и прелестная золотоволосая судья, бродили в больничных халатах по коридору сумасшедшего дома.

Говорят, бога нет. А есть законы физики и законы химии и закон исторического материализма. Раньше, когда я был здоров, бог мне и не нужен был. А законы физики и законы химии и закон исторического материализма объясняли мне все и насыщали верой в порядок мироздания и в самого себя. Но теперь, когда душа моя больна, ей не помогают законы физики, ей не помогают законы химии и закон исторического материализма. Вот если бы Бог был — ну хотя бы не Бог, а что-то высшее, чем законы физики, законы химии и закон исторического материализма, я сказал бы Ему: «Я болен...» и Оно ответило бы мне:



— Это верно. Вот беда какая, ты болен...

Купола и иконы стали телевизионно-государственной модой...

Написал киносценарий о человеке, который жил плохо. Как я жил тогда.

Этот сценарий понравился очень хорошему режиссеру, который тогда как раз тоже жил плохо и потому именно об этом и хотел снять фильм.

Но оказалось, что для Госкино такой фильм — о человеке, который жил плохо, — не нужен. А нужен фильм о человеке, который жил хорошо.

Чтобы переделать фильм таким образом, режиссер, который тогда снимал картину в Ялте, попросил как можно скорей вылететь к нему.

И я вылетел.

У этого человека была необыкновенно яркая фантазия. И он рассказал мне, что надо переделать в сценарии, чтобы он был о том же самом и стал даже лучше, чем прежде. Я тоже заволновался возможностью переделать сценарий так, чтобы он устроил Госкино и все-таки оставался о том же самом.

Прежде чем сесть за работу, я решил зайти в парк. Все-таки Ялта. Спустился на шоссе, дошел до дома творчества «Актер», где я отдыхал много лет назад. До сетчатой изгороди, за которой внизу были корпуса для отдыхающих, а еще ниже — море. Некогда я провел здесь двадцать четыре дня весной, в мае. Некогда я прошел с чемоданом в эти ворота, спустился по витой дорожке и остановился. Белое, сладкое, душное кружилось над моей головой. Это были глицинии. Внизу что-то слабо гремело. Это было море. Я был посередине всего этого — не стоял, а висел, плыл посередине всего этого. Счастье еще не началось. Было только предчувствие счастья, предвосхищение, предупреждение о том, что с этого мгновения начинается совсем иная жизнь. Та жизнь, для которой мы и рождены.

Двадцать четыре дня я взлетал и сбегал вниз по этим витым дорожкам, лежал на горячей гальке, переговариваясь с людьми, которых, казалось, не забыть до конца жизни. Двадцать четыре дня обедал за столиком у окна с людьми, которых никогда не забыть.

Пытаюсь вспомнить, кто были эти люди, — не могу. Кажется, стоит войти в эти ворота, и они вспомнятся.

Вошел — как все изменилось! Главный царственный корпус пооблез. А за ним — что это? Сколоченный кое-как забор. Прямо перед окнами первого этажа. Как же люди спускаются к морю? Я свернул по дорожке вниз, к беседке — беседки нет. Забор серый, трухлявый — фанера, дранка, просто ржавые сетки от кроватей с грязной ватой в ячейках. Колю-

чая проволока. Заглянул в щель забора — все до самого моря разрыто. Земляные всхолмья, груды битого кирпича, и на всем — что-то тряпичное, мусорное, истлевшее. Вот калитка к округлому, затененному зеленой зарослью спуску к морю. Однажды я остановился там и сказал себе: запомни это. Камни, из которых сложена стена, эту заросль, эту минуту. Надо запомнить навсегда. И забыл.

Навстречу мне брел человек с серым мятым лицом и во всем помятом, осеннем. Я спросил его:

— Здесь сейчас живут? Кто-нибудь?

— А как же. Человек двести.

— А это, — показал я, — давно уже?

— Лет десять. Стройка века.

Шутка тоже многолетней давности.

Здесь я жил, когда молодость уже прошла! И война была давно позади! Так, значит, с тех пор и еще одна жизнь прошла? Когда я уже мог быть счастливым?.. И не стал!

Я пошел в город и в кассе Аэрофлота купил билет обратно домой.

А время тем временем, несмотря ни на что, все умнеет.

Из небытия выходят на свет пьесы, фильмы, повести «новой волны» — об одиноких, смятых жизнью людях.

Вампилов, Петрушевская, Толстая, Галин, Соколов, Разумовская, Миндадзе, Каледин. Прости, Володя, для нас ты, Войнович, тоже новая волна, и Владимов, и Аксенов, и, надеюсь, многие другие.

Искусство это жестоко. Если не увидеть, ради чего оно. Вот кто-то из героев в ы с т о я л. И мы, такие же, глядя на него, испытываем вдруг дерзкое утешающее — значит, все-таки можно?.. И — жалость. Великое чувство.

Интеллигенция постепенно перестает быть прослойкой.

Неприязненное отношение к ней верхов сменяется опасливым. Без нее, оказывается, не обойтись.

Эфрос болел терзаниями этой прослойки издавна. Розовские мальчики первых его спектаклей стали больной совестью времени. Их глазами многие увидели уродливым то, к чему за долгие годы притерпелись. Эти мальчики были и цельней и сложнее многих упорядоченных послушанием взрослых. Они были интеллигентны.

У Эфроса Отелло в спектакле — в очках.

— Ну и что, что черный, — говорил он. — Поль Робсон тоже негр. Ну и что же, что военный. Вершинин в «Трех сестрах» тоже военный. Но ведь интеллигент! А Отелло и военачальник к тому же. Значит, не машет пашкой, а сидит за военными картами.

Интеллигентность была для него едва ли не главным достоинством человека. В телефильме «Несколько слов в честь господина де Мольера» интеллигент — Мольер. И еще один интеллигент — слуга Дон Жуана Сганарель. Обе эти роли играл необузданный интеллигент Любимов.

И Мольеру, и Сганарелю невыносимо, когда бьют. Пусть не его, пусть другого. Ненавистен обоим ненасытно разрушительный Дон Жуан. Страшны нагло-величественные хозяева жизни — король, святоши.

Эфрос, человек редкого дара, был заражен свойствами души интеллигента — жадной работы и чужеродностью людям, управляющим театральными делами. Однако они сумели вовлечь его в поспешное осуществление своих планов и подвергли тяжким испытаниям. Это, думается, в конце концов и стоило ему жизни. Впрочем, тайна дара укрыта от нас тайной человеческой натуры.

В сложностях и тупиках своего труда люди театра не раз будут возвращаться памятью к его имени.

Тихие взрывы прокатываются с маленькой сцены, по маленькой литовской стране, потом по большой стране, дальше... Спектакли Некрошюса. Тихие взрывы эти говорят каждому о том, что ему важно. Мне — о насилии человека над человеком, страны над страной. Литовские женщины говорят: «Мы приходим сюда как в храм, только не мы перед ними исповедуемся, а они перед нами».

Усталая, сонная комиссия, уже в темноте зала, путаясь в ногах зрителей, пробирается на свои места, прилаживает наушники. Потом, за сценой их поили чаем с литовскими печеньями. Я пошел туда и проиграл перед ними спектакль за дядю Ваню, за Елену Сергеевну, за Астрова, за профессора Серебрякова, за Вафлю, за чудовищных полотеров, за водку, капающую с тихим звоном из опрокинутой рюмки на этакерку...

(Потом, оказывается, театру присудили Государственную премию. Может быть, просто очередь Литве подошла.)

Единственность человеческой жизни для нас то и дело заслоняется повседневностью. Но искусство по сути своей — вызов человека небытию, неизбежной смерти, обжитой пустоте мироздания. В простейшей форме такой вызов — отчаянные, счастливые песни-крики Эдит Пиаф, пожилой, неизлечимо больной женщины. Вахтангов незадолго перед смертью сидел на репетициях «Принцессы Турандот», согнувшись от боли, и кричал актерам на сцену: «Это — смешней! Это — смешней!..»

Другой жизни — вместо этой — не будет.

Я все же писал сценарии для кино. И вот пришлось приехать в Дом кино, в Москву на премьеру фильма, поставленного по моему сценарию. Мне не хотелось ехать. На торжество по этому поводу, который того никак не стоил. Беда в том, что я всегда тороплюсь кончить работу и тогда уже смотрю, что получилось. Но после того, как кончишь, уже неохота смотреть, что получилось. И получилось ли вообще что-нибудь. Поэтому может получиться так, что получилось совсем не то, что ты думал. Так вышло и на этот раз. Но если бы я не приехал, то обидел бы киностудию, которая не виновата же, что у меня что-то не получилось. Но я-то все равно понимаю, что написал плохой сценарий. И причины этого я сам уже знаю. Он получился плохой помимо моей воли. Когда писал, я думал, что он будет хороший.

И вот теперь надо выйти на сцену перед экраном вместе со всей группой и стоять там, демонстрируя свое мучительное лицо. Вышел, отстоял. И только одно все время думал: все забудется, все уйдет в прошлое.

А после картины, после стыда этого группа поднялась в ресторан, он там наверху, на застолье по поводу картины. А я рестораны эти терпеть не могу. Гордые официанты, тосты и все такое. Надо было сказать тост и поблагодарить всех. Но я сижу, молчу, пусть первый тост скажет кто-нибудь другой. А после того, как я охмелею, вообще все станет проще. А потом пройдет какое-то время, и вообще все это забудется, уйдет в прошлое. Но режиссер постучал ножом и объявил, что я хочу сказать тост. А что говорить? Говорить-то что? Но так принято. И вот встаю и говорю нечаянно то, о чем думал все время:

— Все забудется, все уйдет в прошлое...

Но было шумно, кто-то еще праздновал что-то еще, и мне закричали:

— Громче, не слышно!

Но раз я так уже начал, то и повторяю как попугай, уже громче:

— Все забудется, все уйдет в прошлое!

Тогда кто-то распорядился:

— Дайте микрофон, микрофон попросите!

С эстрады мне дали микрофон на шнуре. Но я не знал, что он так усиливает звук.

— Все забудется, все уйдет в прошлое!..

И больше ничего не могу добавить, такой рев получился. Да и мыслей других больше нет.

Наверное, подумали, что я пьян. А я тогда — совсем немного, просто чтобы отключиться.

Об этом трудно, об этом надо. Давно это было. Травили Зощенко.

В «Огоньке» прочитали статью о том, как его заставили каяться (в ленинградском Доме писателей). Английским студентам, которые спрашивали, согласен ли он с ждановским постановлением о нем и Ахматовой, он сказал «Нет». Вот за это. После его выступления двое в зале решились заплодировать ему, один был Меттер, другого Гранин не помнит. Другим был я. Меттер был редактором моей первой книжки, мы стояли где-то сзади, у дверей. Аплодировать, в общем, было неуместно, сейчас поймете, почему. Все же это означало бы, что зал принял и одобрил покаяние.

На сцене сидели приехавшие из Москвы на это мероприятие Кожевников и Симонов, сидели в президиуме. Симонов — вальяжно облокотясь на белую руку. (Как любили мы его стихи на фронте, как ждали их!) Зощенко не каялся, а пытался объяснить. Долго. В войну его попросили написать что-нибудь смешное, для детей. Пусть голодные, холодные хоть повеселятся. Он написал про обезьяну, которая убежала из зоопарка. Напечатали в журнале «Звезда». И вот уже много после войны Жданов написал статью, которая стала постановлением партии и правительства, где представил это произведение как злобный пасквиль на советских людей. (Как продуманно, по-иезуитски соединил «пошляка» Зощенко и утонченную врагиню народа Ахматову. Получалось, что между этими полюсами уже всякое писание подозрительно.)

Закончил Зощенко страшно. Крикнул в зал: «Не надо мне вашего Друзина, не надо мне вашего сочувствия, дайте мне спокойно умереть!» (Друзин был редактором журнала «Звезда».) Этого крика, этих слов не забыть. У сидевших в зале были гримасы страдания на лицах. У всех. Вот тогда Меттер и я захлопали. В тишине. На что вальяжный Симонов, грассируя, проговорил: «Ну вот, два товарища в задних рядах присоединили свои аплодисменты к аплодисментам английских буржуазных сынов».

В «Сентиментальных повестях» герои Зощенко жалки, ничтожны, бесталанны. Неспособны оценить любовь к себе, неспособны одарить своей бестолковой, беспомощной любовью других. Жизнь постепенно лишает их всего: веры в себя, крова, денег, к концу каждого рассказа они голы, нищи перед собой и перед другими, любившими и любимыми некогда. Зощенко как бы приравнивался, примерял себя к ним, лишенным права голоса в свою защиту. Вот тогда, в том зале его собственная мучительная жизнь прокричала о себе сама.

Только ранним солнечным утром и может это присниться. Дождь по крышам подъездов (тогда еще были навесы над подъездами). И дождь по крышам домов. По сиротливым (всю ночь под этим дождем) деревьям. И черное небо, потому что снится ночь. Но окна почему-то освещены. Там за ними живут люди, которым ты необходим. Но

сейчас мы друг другу еще неизвестны. Но по т о м в будущем ты отдашь им свою жизнь и будешь умирать под этот белый шум дождя, а они выйдут из-за окон и будут тихо стоять вокруг.

Это я пишу на трезвую голову, потому что винные магазины открытаются с двух только, а запастись забыл.

А когда не забываю, то прячу бутылку, чтобы младший сын, он еще учится в школе, не увидел, что я выпиваю по привычке прямо с утра. Причем однажды он ее увидел (бутылку). Тогда я начал прятать ее в разные места. Но вдруг, проснувшись, стою посреди комнаты и вспоминаю, куда же я ее спрятал вчера. А сын говорит: «Папа, она там». Значит, он з н а е т! Но все равно стыдно, и прячу по-прежнему в разные места, но уже стараюсь не забыть, куда.

Если сказать встречному человеку «Доброе утро», то он подумает, что мы знакомы, просто он позабыл, и ответит «Доброе утро», и улыбнется, так уж принято. А потом наступит время, когда можно уже сказать «Добрый день». Можно тем же самым людям. И они ответят «Добрый день» и, возможно, еще раз улыбнутся. А чуть начнет темнеть — я им «Добрый вечер». Были такие, которые улыбались по три раза за день. А сегодня один спросил: «Батя, где тут винный магазин?» Как хорошо спросил! Как будто мы с ним давно уже свои. «Да вот, — говорю, — рядом!» Он обрадовался, что близко, улыбнулся и сказал: «Спасибо, батя».

Когда я начал становиться таким? В армии? Нет, совсем нет! Были тогдашние солдатские, родные, единственные друзья. А вот после войны... Нет, друзья появлялись и тогда еще, вспыхивали вдруг ярко, восхищали, ошеломляли; казалось, вот этот — навсегда, такого еще и не было! Живите у меня! Зачем в гостинице! Приезжайте с женой! А я приеду к вам!.. Обманы, пустые надежды.

Некогда были слова: «звезды», «небо», «счастье», «самоубийство». Теперь вместо них слова все простые, а тех — нет и в помине. Первая Мещанская (теперь проспект Мира) зимой была белая внизу и черная со звездами в вышине. Мерцали звезды наверху, мерцал снег на мостовой. Когда-то. До войны спектакли в театрах шли с занавесом. За ним была тайна, гнездились неведомое. Вот сейчас оно оживет, но не сразу станет понятным, а постепенно, когда занавес начнет утомленно сдвигаться... Когда-то.

Видимо, я был запрограммирован на тот возраст. Как жить в теперешнем — не знаю.

А скромность? Пресловутая эта скромность. Не зря говорят, уничижение паче гордости. Я, мол, вот какой скромный. А вы, мол, вот какие гордые. Не говоря уже о том, сколько ненужных обид и неудобств она

доставляет самому «скромному». Сколько очередей он выстоял понапрасну, не спросив, необходимо ли их выстоять. А иные очереди по скромности выстоял дважды! А скольким людям, неприятным и чуждым, он подчинялся просто из боязни задеть их самолюбие, оказаться в их глазах гордым. Сколько раз сопровождал их бог знает куда и зачем, занимался их неинтересными занятиями, играл в их тоскливые игры, проводил с ними их пустынное время, поил их, веселил, развлекал их, а то и хуже, отдавал им то, что самому было важнее важного. Как торопился отдавать! Чтобы не подумали, что жалею! Но потом, потом — вот что главное — как бежал, как скрывался от них! Завидя вдаль, переходил на другую сторону улицы и обращался в бегство у них на глазах, и они не понимали, в чем дело.

И все же. Все же. Все-таки. Возможно ли не быть скромным перед человеком, которого мы почему-либо вознесли в своей душе? И перед морем мы скромны. И перед войной мы скромны. Перед деревенской девушкой на речке мы скромны. И перед собором, костелом, мечетью, церковью мы скромны...

Давно это было, а забавно. Бригада в составе баяниста, лектора на политические темы и начинающего писателя (меня) обслуживала предприятия Мгинского района. В школе рабочей молодежи мне стали задавать вопросы о Дудинцеве и Пастернаке. (Это как раз тогда все было.) Я отвечал, как думал. На другой день меня вызвали в райком и прочитали вслух письмо учительницы, которая присутствовала на этой беседе. Она точно записала мои ответы, и все они были действительно по тогдашним временам никак недопустимы. А в конце письма, чтобы разоблачить меня до конца, она добавила: «К тому же он был нетрезв».

— Что ты пил-то? — спросил секретарь райкома.

— Стакан красного вина и пиво.

Тут работники райкома оживились.

— Кто же это вино с пивом мешает!

— Водку нельзя с пивом мешать, а вино еще хуже.

— Вот даже коньяк можно с шампанским. А вино с пивом никогда.

И поняв, в чем заключалась моя оплошность, письмо порвали, а меня отпустили.

В отрочестве мне снилось — вот я лечу, а внизу лежат светящиеся женщины, слегка приподняв одно колено каждая. А одна среди них — Прекрасная, с большой буквы. Наши девочки в десятом классе (в десятом, подумайте! но — в тридцать шестом году) говорили нам, дуракам: «Вы думаете, у женщины главное грудь? Какая ерунда. Главное — ноги!»

Пользуясь тем, что я по временам выпиваю (не становясь, подчеркиваю, алкоголиком), жена и ее свояченица, верней, моя свояченица, то есть ее сестра, разговаривают со мной развязно, иногда тоном приказа, как, например: «Садись. Не туда — сюда. Сейчас я тебе борща налью». В ответ на что я написал плакат и вывесил его на стенке: «Я свободный человек». Однако даже это не изменило к лучшему сложившуюся ситуацию. Тогда я вывесил другой плакат в завуалированной форме, как бы цитата из Пушкина: «Он в семье своей родной казался девочкой чужой». Однако и это должным образом не повлияло. Поэтому вынужден обратиться к мнению общественности.

Описываю случай. Я был в Ленинградском доме ВТО, и там не очень знакомая женщина сказала, что она хочет есть, а денег нет. А у меня в кармане пиджака были. И я сказал: «Пойдем напротив в ресторан, там поедим». Конец цитаты. А это как раз было, когда наши танки вошли в Чехословакию. А я Чехословакию люблю за фильмы, которые все время в Америке получали «Оскаров». И вот я сильно напился, и встал, и обернулся к залу, и во всю глотку: «Стукачи, выньте карандаши и блокноты! Я за свободу демократии и Чехословакию!» И все стали смотреть на меня, но никто не вынимал карандаши. Тогда я еще раз и еще раз: «Стукачи! Выньте карандаши и блокноты...» Конец цитаты и т. д. Тогда за наш стол, большой, перед самым оркестром, сели несколько молодых людей, они меня полюбили, и я их полюбил, и мы стали пить друг за друга. А женщина куда-то исчезла, я и не заметил. Потом она подошла ко мне со своим партнером, оказывается, она пока танцевала. И они схватили меня за руки и быстро повели к выходу и по лестнице вниз и в машину и отвезли домой. Даже не расплатились. А назавтра я рассказал кому-то об этом случае, и мне сказали: «Да она же стукачка и есть!» Конец цитаты. Но я не поверил. А если и да — то тем более благородная женщина. А через несколько лет я неожиданно встретился с ней, она занимала какую-то должность. И она говорит мне: «Помните?...» и т. д. И все напонила. И оказывается, она-то как раз не стукачка, а оказывается, наоборот, те, которых я полюбил за столом, они и были стукачи! Поэтому они и разговаривали с оркестрантами, как знакомые.

Стыды. Не ходил на Красную площадь с теми, семерыми, против наших танков в Чехословакии. Это например. А сколько лихорадочных, глупейших поступков, они же, как правило, и плохие?.. Ладно, у Соловьева: «Я стыжусь, следовательно, существую». Или: «Спокойная совесть — изобретенье дьявола». Для утешенья на полторы минуты. А как с этим жить, по утрам? Ведь стыды-то не выдуманные, настоящие!



В древности поэтов называли певцами: они сами сочиняли стихи и мелодию, сами пели их и сами себе аккомпанировали. Но постепенно отпала необходимость личного исполнения, затем отпала мелодия, стали необязательны рифма и размер, а иной раз даже мысль — сама поэзия стала служить недостойным целям... Тогда она спохватилась и потребовала: воссоединяйте меня!

В нашей стране первым это сделал Окуджав.

Я увидел его в гостинице «Октябрьская» в компании московских поэтов. Он поставил ногу на стул, на колено — гитару, подтянул струны и начал. Что начал? Потом это стали называть песнями Окуджавы. А тогда было еще непонятно, что это. Как назвать? Как рассказать об этом, что произошло в гостинице «Октябрьская»?

Окуджава уехал в Москву. А я рассказывал и рассказывал о нем, пока директор Дома искусств не полюбопытствовал, что это были за песни. Я изложил их своими словами. И вскоре в ленинградском Доме искусств был запланирован первый публичный вечер Окуджавы.

Я обзвонил всех, уговаривая прийти.

— Что, хороший голос? — спрашивали меня.

— Не в этом дело, он сам сочиняет слова!

— Хорошие стихи?

— Не в этом дело, он сам сочиняет музыку!

— Хорошие мелодии?

— Не в этом дело!..

Перед тем как я должен был представить его слушателям, он попросил:

— Только не говорите, что это песни. Это стихи.

Видимо, он не был уверен в музыкальных достоинствах того, что он делал.

На следующем вечере Окуджавы в Доме искусств стояла толпа.

— Что такое тут? — спрашивали прохожие.

— Аджубей приехал, — отвечали.

Если ни один из лугов, ни один из прудов, ни один из лесов, если ни один концерт для скрипки с оркестром или для рояля с оркестром, если ни одна женщина, ее веселый взгляд, ее печальный взгляд, ее случайный взгляд не могут поднять меня над моей скудной жизнью, значит, я другой и не стою.

Николай Павлович Акимов после моей первой пьесы «Фабричная девчонка» говорил: «И друзья и враги одинаково жаждут, чтобы Володин шел на Голгофу». Ту пьесу обвиняли в очернительстве всей нашей жизни. Во второй пьесе, «Пять вечеров», этого очернительства не было. И я понимал, что друзей разочарую. Правда, там не было и партийного

начальства, из рук которого люди принимали и наказания и поощрения. Вот это обстоятельство оказалось более неприемлемым. Что и сослужило впоследствии «плохую службу на пользу дела».

Товстоногов сказал: «Я буду ставить этот спектакль с волшебством». Как я понял впоследствии, волшебство состояло в том, что он с необычайной подробностью рассказывал о людях, которые по тем временам вообще не стоили внимания. Жалкие люди, неустроенные судьбы. Тем более что героиней спектакля была опять же по тем временам неуместная на сцене одинокая женщина. Товстоногов умел репетировать с удовольствием. Если у актеров что-то получалось хорошо, он говорил: «Алло! Первые дни я думал, что потому его и зовут, за глаза, конечно, Гога».

Он хотел умереть, как артист Бабочкин, в машине. Говорил так. И это было ему даровано. Успел подрулить к тротуару и притормозить. С такою же подробною точностью, какою он владел на сцене. Высшие силы позаботились о нем до конца.

В Москве тем временем выросла студия «Современник». Еще на площади Маяковского.

Помнится случай в студии тех лет. Я написал пьесу, которая почтительно мной режиссеру не показалась интересной. Ну, не получилось. Из Москвы звонит Олег Ефремов.

— Я слышал, ты пьесу написал?

— Олег, написал, но не получилось.

— Приезжай, я почитаю.

— Зачем это, Олег! Стыда не оберусь!

— Я один почитаю, никто не узнает.

Приехал — сидит вся художественная коллегия, кажется, так называлось. Волчек, Табаков, Козаков, Евстигнеев...

— Ты же обещал, Олег, что прочитаешь один!

— Ничего, они никому не скажут, тут все свои.

Он прочитал пьесу вслух. В тот же вечер состоялась первая репетиция пьесы «Назначение».

Молодые студии сходились на прогоны, толпились за кулисами, смотрели.

Начальственные просмотры, один за другим, плотный огонь по квадрату. Главное обвинение — «вбиваете клин между народом и правительством».

Очередное многоядное совместно с критиками судилище. Министр культуры РСФСР Попов:

— Словом, работать и работать. Теперь уж на тот сезон перенесем.

Тут я не сдержался, невольно как-то получилось, да при женщинах еще:

— А ну вас к е... матери.

И ушел. По пути еще стало стыдно, тяжело. Больше года люди работали, а я все загубил. Звоню Олегу.

— Прости,— говорю,— ради бога!

А он:

— Что ты, Саня! Все было прекрасно!

— А что было-то? Потом?

— Ну, сначала долго молчали. А потом Родионов (начальник московского управления культуры) говорит:

— Но с другой стороны, вот мы посмотрели — нам это не понравилось, а другой догматик посмотрит — ему другое не понравится. Приходите ко мне — без автора, без автора, только коллегия, пойдем по страничке, по страничке...

— Да почему же он вдруг так! — спрашиваю.

— Да потому, что иначе по городу слух бы пошел, что ты их обложил, и вот они обложённые ходят.

Это была последняя пьеса, разрешенная к тому же одному лишь театру — «Современнику». А дальше, лет двадцать — как теперь говорится — «в стол»: «Ящерица», «Две стрелы», «Мать Иисуса», другие. Сцена? Тошно, тошно! Потом стал тошен и экран.

Некогда Олег сказал мне:

— Если тебя посадят, я буду носить тебе передачи. Если меня посадят, ты будешь носить мне передачи.

Он — друг. Многим. Своим друзьям. Своим актерам. Если идти дальше — людям.

Он — свой сумятице человеческой жизни со всеми ее и уродствами, и взлетами. В небольшом телефильме он играл графомана, который по мере сил сочиняет стихи. Ефремов так читал их, что шахтер из Донецка попросил в письме, чтобы Олег Николаевич прислал ему свои стихи, а то жена его не понимает.

Стихотворения без метафор и образов называют полустихами. Некоторые из них читал на своих концертах Сережа Юрский.

Хобби.

Давно уже известно, что у каждого должно быть хобби — какое-нибудь увлечение, помимо профессии.

На Западе — там у всех есть.

Уже и у нас, почти у всех моих знакомых было по своему хобби.

И я стал скорее искать, какое бы хобби завести мне.

В первую очередь приходит в голову, разумеется, фотография: можно снимать направо и налево, прямо на улице, детей и женщин, которых больше никогда не увидишь, а так они у тебя остаются.

Но это хобби у меня не получилось.

А почему не получилось — непонятно.

Тогда я придумал другое хобби — путешествовать автостопом: под-  
нял руку, остановил машину и поехал, куда глаза глядят.

Но и это не вышло — никуда не поехал.

Пожалуй, потому, что это неудобно — ни с того ни с сего остано-  
вить машину — мало ли, а может, у меня охота.

Так и придумывал хобби, одно другого интересней, но ни одно не  
получилось. А потом я понял, почему.

Потому что у меня уже было хобби!

Вот так тихо и незаметно — было.

Не лучше, чем у других, и не хуже.

Оно появилось само по себе, и довольно давно уже, это хобби. То-  
гда и названия такого еще не было, и ни у кого, кроме меня, еще не бы-  
ло хобби!

А у меня уже было!

Это хобби — с кем-нибудь выпить.

Лучше всего — с незнакомыми людьми.

Не родственники, не начальники, не подчиненные — просто по-  
встречались несколько человек на одном и том же земном шаре.

Несколько строчек в рифму приглянулись Мише Козакову. Он все-  
возможно талантливый человек, это всем известно. Посвятил ему эти  
строчки.

Виновных я клеймил, ликуя. Теперь иная полоса. Себя виню, себя  
кланю я. Одна вина сменить другую — спешит, дав третьей полчаса.

Юрий Любимов взорвал, ошеломил всех, вместе с четвертым кур-  
сом Щукинского училища. Это родился будущий Театр на Таганке. Не-  
обузданный, он ставил такие спектакли, что через один начальству при-  
ходилось их запрещать. К каждой новой работе театра оно собиралось  
с силами к изощренной борьбе.

Любимов ненавидел начальство и не скрывал этого. А началь-  
ство-то — государственное. Значит, он против государства? Но он одевал  
свою ярость в такие праздничные фантастически-изобретательные те-  
атральные одежды, что иной раз и начальству хотелось думать — мол,  
это не про них, а про их начальство. Но запрещать-то надо! Запрещали.

Спектакль по стихам Вознесенского «Берегите ваши лица» был задуман так, что Любимов сидел в зале за режиссерским столиком с лампой и микрофоном и как бы вел репетицию, мог остановить, заставить повторить, сделать замечание. А во время прогона чуть позади справа от него сидел корпус министерского руководства, слева — несколько друзей.

Вот молодые актеры в черных трениках — свет сзади, лиц не видно, декламируют (или поют — забыл) стих, где слова: «Запрещаем запрещать!» Любимов останавливает эту как бы репетицию, кричит:

— Надо, чтобы было понятно, что запрещаем! Кому запрещаем! Еще раз! — И теперь уже и сам кричит со всеми, в микрофон, обращаясь то к начальству, то к нам:

— Запрещаем запрещать! Запрещаем запрещать!..

Потом меняется свет и оказывается, что на актерах и актрисах дощечки с надписями, например, «Я люблю Кеннеди» и так далее, обозначающие, что это, мол, там мы запрещаем запрещать. Но начальство-то уже привыкло к этим штукам, накидало замечаний и указаний.

Потом (это мне говорили) Вознесенский сказал: «У меня в ЦК комсомола есть кореш, он посмотрит, все замечания к чертям отменит».

Пришел кореш из ЦК комсомола и запретил спектакль вообще.

Репетиция «Бориса Годунова», кирпичная стена, два стула и доска, и народ, который, безмолвствуя, поет.

Золотухин на репетиции был жалок перед надменною полячкой. Любимов спрашивает:

— А что бы ты сделал, если бы так над тобой измывалась русская баба?

— Я бы съездил ей.

— Ну вот и давай.

И Золотухин «съездил» Демидовой. И сразу поставил ее на место. «Царевич ты!»

А не принятые критикой «Три сестры»?

Где сначала духовой маршик звучит с небес. И открывается стена зрительного зала, а за ней — Таганка, за деревьями купол церквушки, и ветерок дует в зал...

Может быть оттого, что напомнило, как на фронте думалось: «Поставили бы на Первую Мещанскую, дали посмотреть в одну сторону, потом в другую — а там пусть и прихлопнут...» Слезы к горлу. Проговорил: «Вот и весь спектакль». Какая-то женщина, сидевшая рядом, встревожилась: «Уже всё?»

А сестры, говоря о прекрасной будущей жизни, смотрят со сцены на нас, какие мы теперь, будущие? И Федотик фотографирует нас, будущих. И все под маршик маршируют в будущее. За красными флажками, в загоне. А предвзято дуэль, Соленый направляет на Тузенбаха палец:

— Бац!

И Тузенбах корчится в предсмертной конвульсии.

В журнале «Театр» критик проиронизировал: «Репетируют смерть».

А на фронте случалось подумать: «Если случится — то как — сразу или с мученьем?..»

Да, забыл. Происходит это все как бы в казарме — койки под байковыми одеялами, умывальники-гвоздики... Полк на постое в городке.

Казарма вспомнилась — довоенная, нескончаемая, бессрочная.

Правда почему-то потом торжествует. Почему-то торжествует. Почему-то торжествует правда. Правда, потом. Людям она почему-то нужна. Хотя бы потом. Почему-то потом. Но почему-то обязательно.

Вдруг постарел. Это случилось позавчера. Но я даже сразу и не заметил. А сегодня вижу — уже.

Проснулся и выпил немного. Теперь просыпаться — и пить. Дорога простерлась полого. Недолго осталось идти.

Неловко в таком виде быть среди людей. Если можно, не приходите без предупреждения. Чтобы я успел сделать вид человека, который еще. И хорошо бы больше не работать. Пришлось бы работать, делая вид. Давно, по правде сказать, это началось уже. В войну еще.

А время стало умней, как раз сейчас. И некоторые оживают и возбужденно смотрят в будущее. А тут как раз и жизнь прошла.

Умер Яша, святой человек. Легко умер, ночью. Моложе меня.

Умер Камил Икрамов. Но — сделав главное в своей жизни, опубликовал повесть об отце, секретаре ЦК Узбекистана, погибшем в лагерях. (Да он и сам, Камил, сначала сидел на коленях у Сталина, потом — тоже в лагерях.)

Умер любимый народом, блистательный, закомплексованный Андруша Миронов.

Умер Даль.

Умер Высоцкий!

Сколько их уже, прекрасных, моложе меня...

Мы знаем, каков этот мир, сколько в нем страдания. Если Бог есть, как же он мог создать такой мир, зачем? Создал и — отошел в сторону? Такого Бога трудно почитать. Может быть, он создал этот мир и дал ему (нам) свободу? И сам приобщился ко всем страданиям этого мира?

Отмщение, оказывается, приходит не от того, перед кем оказался виноват, а какое-то время спустя, совсем от другого, от других, от жизни.

«Что это у тебя пьесы какие-то сиротские?» Смотрю — правда, эти — из детдома, та — тоже, у тех неладно с родителями. Просто это больше знакомо. Отсюда у многих потянулась на всю жизнь неуверенность в себе и какая-то прорывающаяся неврастения.

Кстати, и непонимание ничего про это, почти у всех тогда мальчишек. В госпитале медсестра спрашивала: «Так сладкого и не знал?» Многих могли так спросить. А после войны жизнь, как теперь говорят, «за чертой бедности», без прописки в получердаках и полуподвалах (однажды зашел легендарный Назым Хикмет, сказал: «У меня в Турции камера была больше») и борьба с космополитизмом... Вот откуда и стыды за все, что сделано наспех, от усталости, каждый поступок — в ту секунду, когда еще и не подумалось: не надо, зачем! И каждое утро теперь — воспоминания об этих стыдах, кругами, от одного к другому.

А вдруг жить осталось еще долго? Еще целый год? Долго! А вдруг еще пять лет? Долго!..

На фронте была далеко идущая мечта: если бы мне разрешили — потом, потом, когда кончится война, пускай не жить, к чему такая крайность, но просто оказаться там, просто увидеть, что будет потом, потом, когда — совсем, совсем!..

И мне разрешили. Не просто смотреть, но купаться, кататься, обижаться и не обижаться, опускаться и не опускаться, напиваться и не напиваться и еще тысячу всего только на эту рифму и еще сто тысяч на другие. Стыдно быть несчастливым.

А женщины, самые, казалось бы, несовершенные, иногда говорят такие слова... И так смешно шутят, и так проникательно думают о нас, чтобы нам было лучше, чтобы нам было сладко с последней из всех, как с первой из всех. И то и дело это им удается. То тут, то там, то так, то сяк. А если не удастся, они страдают молча. А если говорят — иногда говорят такие слова... Стыдно быть несчастливым.

А есть коровы. Только и знают, что жуют свою жвачку. Ничего не делают своими руками. Не смогли бы даже, если бы захотели. Пустяковый подарочек теленку и то не в силах, не говоря уж о работе ума! Что-нибудь сочинить, на пользу таким же коровам, как они, и заволноваться этим и вскричать: «Черт побери!» Ничего этого для них не существует. Стыдно быть несчастливым!

Да что там, есть улитки, им за всю свою жизнь суждено увидеть метр земли максимум!

Просто видеть. Просто смотреть, что происходит теперь, теперь, когда совсем, совсем кончилась война. Нет, если бы мне разрешили одно только это, я и тогда сказал бы: стыдно быть несчастливым.

И каждый раз, когда я несчастлив, а я то и дело несчастлив, — я твержу себе это: стыдно, стыдно...

Ошибки, ошибки, провалы и кляксы на жизни. Смолчал, когда надо ответить, сорвался, где надо б смолчать. Ошибки и кляксы на жизни, которых не смыть. И черные мысли, которые всех неврастеников мучат

к рассвету. У каждого мысли свои и по-своему мучат. А жизнь моя — это подарок. Война подарила ее, или Бог подарил — неизвестно. Не быть благодарным грешно. А близкие люди, которым ты нужен, — не думать о них не грешно ли?..

Грехи, и ошибки, и пятна на жизни, и черные мысли к рассвету.

Решил: надо покаяться. Надо исповедаться. Кому?.. Покаялся другу моему, редактору своей книжки. Стало легче.

И всей этой книжкой — покаялся.

У нее были глаза большой величины, она немного стеснялась этого. У нее был высокий лоб, и его она немного стеснялась. Стоило ей немного притомиться, она утрачивала привлекательность. И этого стеснялась.

Мыла, оклеивала, белила, заставляла комнатку блистать. И за окном белó, свежо. Это был ее цвет. Не цвет, а свет. Она еще бежала, а я уже набегался, взмыленный. А ушла — она. Была на двадцать лет моложе — сразу стала на тысячу лет старше. Вчера, вчера ждала она меня из Москвы! А я — задержался из-за какой-то киношной ерунды.

Лежала наискосок, поперек кухни, повернув спокойное лицо к двери, словно для того, чтобы было видно: оно спокойное. У нее был некомпенсированный порок сердца, с детства. Когда я был рядом — вызывал «скорую помощь». Надорвалась! Старый Новый год договорились встречать вместе, втроем.

...Алешу взял к себе. Спрашивает: «Можно я возьму кусочек хлеба?» Говорю: «Что ты спрашиваешь! Ты же дома!» — «Я не дома, это твой дом». — «Нет, это наш дом!»

Не любит выигрывать у меня. Играем в ножичек — жулит, но в мою пользу, чтобы я не проиграл в то, что мне дается хуже.

«Я старался представить этот двор. И представлял точно такой. И квартиру старался представить. Но не совсем такую представлял».

Влюбляется в молодых женщин: наверно, напоминают маму. «Ира, я вас люблю». — «Алешенька, я тебя тоже люблю!» Он — грустно: «Нет, я вас больше люблю, я это знаю...»

«После слез, — говорит, — становится легко, я лучше сплю». Значит, знает уже, как — «после слез»; значит, пролил их уже немало.

Мой сын учится в школе, где преподают французский язык. Не по собственному желанию, а по месту жительства. Им велели выписать газету «Московские новости» на французском языке. А жена, просто ради интереса, принялась изучать английский язык, чтобы читать на нем детективы. Таким образом, в нашей семье теперь выписывается газета «Московские новости» одновременно на французском и английском языках. На русском же, отечественном, у нас подписаться невозможно. Они же — что хотят, то мне и переводят, а что не считают нужным, то не переводят, ссылаясь на то, что некогда. Получается как бы внутренняя семейная цензура.



Мне надо было идти по делу. А на улице был ливень. Свояченица сказала: «Пусть возьмет зонтик». А жена сказала: «Не надо, он его потеряет».

Приснился сон. Он (это я) был безалаберный, опустившийся. Ее лицо было покрыто волосами. Они стояли в толпе рядом. Она накрепко привязала его волосы к своим. Он почувствовал это лишь тогда, когда они тронулись. Они катились на чем-то с горы, было весело. К вечеру она подарила ему ботинки, потому что он был бос. Она не знала, что когда-то у него было много друзей и много ботинок. Он и сам не заметил, как оказался бос. Но объяснить ей это уже не было времени. Ей пора было уходить (навсегда). Он вел ее среди многоэтажных кирпичных корпусов, заводских и жилых. Остатки грязного снега были освещены заревами заводских печей и очагов. Они так и назывались во сне — очаги. На мостовой валялся железный лом. Визжали женщины, горели огнями окна домов — это было одно общее пламя, которое сквозило отовсюду. Она была рада, что он теперь в ботинках. Но она торопилась домой и не понимала, зачем он здесь ее водит. А он прижимал ее руку к груди и знал, что ее здесь уже нет...

Разлюбил слова. Деревья сами по себе, а слова, какими их можно бы назвать, — сами по себе, где-то. Птицы, оркестранты, женщины, самолеты, самосвалы, партаппарат, голосование — сами по себе, а слова, предназначенные для них, — где-то. Поэтому — заключение.

Свобода.

Это слово буду писать на отдельной строчке, потому что это важно.

Свобода

уехать туда, где тебя никто не знает.

От мстительных, зловещих, которые таят.

Но и от любящих, которые проникают в душу, где неладно.

Свобода

от энергетических вампиров — полная несовместимость, — которые отнимают годы и годы жизни, которые толкают тебя на необдуманные лихорадочные поступки, за которые потом расплата.

Свобода

от всех мнений и оценок и переоценок и скидывания со счета.

Свобода

от правых, которым вчера было можно все, и от левых, которым можно почти все сегодня.

Свобода

от общества, в котором нельзя жить и быть свободным от него.

Не знал еще, что останусь несвободен от самого себя, глядящего себе в душу.

*Ленинград*

ВОЛОДИН Александр Моисеевич

## ОДНОМЕСТНЫЙ ТРАМВАЙ

Редактор Г. А. Е л и н

Технический редактор Т. Я. К о в ы н ч е н к о в а

---

Сдано в набор 3.01.90. Подписано к печати 1.03.90. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,03.  
Тираж 150000 экз. Заказ № 1749. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



**СЕРТИФИКАТЫ****Сберегательного банка СССР**

● Выпускаются на предъявителя достоинством 250, 500 и 1000 рублей и предназначены для хранения денежных сбережений в течение 10 лет, с выплатой дохода дифференцированно в зависимости от продолжительности срока хранения денежных средств.

● При соблюдении 10-летнего срока хранения доход выплачивается из расчета 4 процентов годовых. Сертификаты свободно продаются, принимаются на хранение и по предъявлении паспорта оплачиваются в любом отделении или филиале Сберегательного банка СССР.

● При оплате сертификата его владелец может получить деньги либо приобрести новый сертификат, купить облигации займа или внести полученную сумму на вклад.

● **СЕРТИФИКАТЫ** — удобная и выгодная форма долговременного хранения денежных средств.

**СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК СССР К ВАШИМ УСЛУГАМ!**